

GOAO

14

SOLO

ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
ЖУРНАЛ

СОЛО
14

МОСКВА
„АЮРВЕДА“
РУССКИЙ ПЕН-ЦЕНТР
1994

Москва, Госпитальный вал, 5, кор. 18
АО «АЮРВЕДА»

Редакционная коллегия

Владимир АБРОСИМОВ
Андрей БИТОВ
Владимир ЗУЕВ
Александр МИХАЙЛОВ
Евгений ПОПОВ

Редактор-составитель
Александр МИХАЙЛОВ

Представитель редакции за рубежом

Дмитрий ДОБРОДЕЕВ

8000, München, Radolfzeller Strasse, 9a
Tel. (089) 834 32 33

*Продажу журнала «СОЛО» за рубежом
осуществляет книготорговая фирма*

Kubon & Sagner Buchexport-Import GmbH
Telefon (089) 5 42 18-0; Telex 2 216 711 kusa d;
Telefax (089) 5 42 18-2 18
D-80328, München 34, Postfach 340108

В НОМЕРЕ

НОВЫЕ ТЕКСТЫ

Ексакустодиан ИЗМАЙЛОВ**Иосиф ПЕНКИН**

Гроб своими руками (*руководство свободному плотнику*) 4

Олег ЗИНЬКОВСКИЙ

Скайе (*из цикла «Четыре темперамента»*) 60

Ирина СЫСОЕВА

Два стихотворения 68

Олег ЛЕБЕДЬ

Ни дня без строчки (*очерк*) 70

МОНОЛОГИ

Реваз РЕЗО

По стопам ничьей тетради (*эссеобразная импровизация*) 75

Александр ШАРЫПОВ

О движении методом пробок и ошибок 90

Павел КРУСАНОВ

Скрытые возможности фруктовой соломки 99

КЛУБ им. ПОЛКОВНИКА ВАСИНА

Письмо в редакцию 109

Ексакустодиан ИЗМАЙЛОВ
Иосиф ПЕНКИН

ГРОБ СВОИМИ РУКАМИ

(Руководство свободному плотнику)

Памяти
Ексакустодиана Измайлова

Введение

Остается до сих пор непонятным, почему такая актуальная тема, как изготовление гроба, не получила хотя бы малейшего освещения в специальной литературе. В то время как едва ли не каждый человек боится потерять свое комфортабельное местожительство на этом свете, в прессе и литературе преобладает *дальнейшее запугивание* запуганного человека, вместо того, чтобы сделать все возможное для облегчения его утрат и для приобретения новых положительных ценностей.

Не секрет, что для личности потеря жизни равнозначна потере благосостояния, денег, привычных степ и устоявшегося образа жизни. Любую личность пугает предстоящая смена всего накопленного десятилетиями на стандартный гроб, сколоченный из грубых досок. Такие гробы оценивались моим покойным другом как «последняя пощечина» человеку. Они как будто хотят подчеркнуть, сделать более выпуклым новое качество человека, в котором он лишен возможности шевелиться и соображать, а главное — оставаться полноправным хозяином личных сбережений. Все, что касается изготовления гроба, было и по-прежнему остается запретной темой. Вот что любил говорить Ексакустодиан: «Это что за *половинчатая* перестройка, когда чешут языками обо всем, кроме главного?» Главным для Ексакустодиана Измайлова было изготовление гроба. Он отдал своему делу пять лет из отпущенных ему двадцати трех. И эту книгу, где лекции моего друга дополняются статьями его прилежного ученика,

я посвящаю именно ему, впервые поднявшему важную и острейшую проблему производства гроба.

Но прежде чем приступить непосредственно к главам, мне бы хотелось немного рассказать о Ексакустодиане. Что он представлял из себя как человек? Как специалист? Как гений? Все это очень волнует думающего читателя. Поскольку в России для того, чтобы гений стал гением, последнему требуется лечь в гроб, настала пора рассказать то, что так долго замалчивалось.

В день нашего знакомства стояла прекрасная весенняя погода. Я, по своему обыкновению, проводил время в плетеном кресле, окруженный сиренью, перечитывая третью часть «Гаргантюа и Пантагрюэля». Едва я дошел до места, где говорится: «Должно думать, именно поэтому Демокрит себя ослепил: он полагал, что потеря зрения не так опасна, как недостаточное самоуглубление...» — как передо мной появился юноша восемнадцати лет, выглядевший лет на сорок — пятьдесят старше своего возраста. Он сообщил мне, что только-только влюбился в какое-то ангелоподобное создание, и вот, ходит теперь, не понимая, что предпринять. А потом сказал, что, вероятнее всего, повесится к вечеру. Я, помню, стал отговаривать, советовал сначала познакомиться ему с тем ангелом, ну а потом уж и смотреть... На что молодой человек справедливо заметил, что создание настолько ангелоподобно, что вряд ли ответит взаимностью такому *обморку* как он.

На этом *обморке* убрался, чтобы вернуться на следующий день и потрясти сирень, кресло и самого меня до глубины души вдохновенным сообщением. Оно отличалось невременностью, какой мне еще не приходилось наблюдать. Искрящийся взор молодого человека погрузил старика Иосифа в похожее состояние, и я об этом до сих пор не жалею. Сообщение, в двух словах, сводилось к бесстрашному намерению построить *гроб во что бы то ни стало*, какие бы габариты не потребовались. Мысль показалась мне настолько трезвой, что я тут же объявил о своей солидарности и разрешил располагать собой в любое время и на любые сроки. Так было положено начало небывалого дела, которое предстоит еще долго смаковать ученым заморышам следующих тысячелетий.

Ексакустодиан организовал «Вольное Общество Независимых Плотников», которое к концу дней его основателя насчитывало более тридцати членов, начиная с самых малень-

ких (детская группа 10—15 лет), кончая мной, самым старым.

Помню богатой, насыщенной организаторской деятельностью в Обществе, главным делом Ексакустодиана оставалось изготовление своего гроба. Пять лет, в течение которых воздвигался этот грандиозный памятник мысли и широкой, красивой жизни, — уже факт истории, к прискорбию, не нашей пока отражения в учебниках.

Это был гроб длиною в семьдесят восемь метров, шириной около метра и высотой около сорока шести сантиметров. Ексакустодиан нашел оптимальные размеры для ширины и высоты гроба, считая, что длина может быть произвольной. Внутри автор поместил предметы собственности, все, что удалось приобрести за последние пять лет жизни, а также подарки друзей и учеников. Там были: триста четырнадцать килограммов свежей говядины, двести два — свинины и триста девяносто пять — баранины, тоже свежей; две пары туфель: одни с острыми носами, лакированные, другие — с тупыми, но не лакированные, на шнурках, которых самих по себе было сорок пар, не считая пары в туфлях; девятнадцать обработанных цыплят, коробка творога, два свитера и пятьдесят две пары трусов, клубничное и малиновое варенье, общей сложностью 12 литров; восемнадцать пар кальсонов, шахматы, три канистры со сметаной, сто шестнадцать буханок черного хлеба, двести сорок батонов белого; две пятидесятилитровые бочки, в одной из которых — молоко, в другой — подсолнечное масло; поллитра ряженки, пять пар плавок, два зеркала, тридцать семь авторучек и шестьдесят пирожных с кремом; сорок два торта, восемьдесят пять рулонов обоев, ящик жевательной резинки и три пары кед; ксерокс, охотничье ружье и двести восемь патронов; рулон бумаги для кассовых аппаратов, три пиджака, бронированный сейф, два портфеля, девяносто восемь килограммов сливочного масла, пачка рафинада; три меховые шапки и девять спортивных (три из них с помпоном наверху); тридцать три палки копченой и двадцать семь полукопченой колбасы, две свежие осетрины, пара новых унитазов, восемь галстуков и две «бабочки»; неподъемные головки сыра, тоже две, тридцать три сорочки, пальто и шестнадцать футболок; три зимние и пять летних курток, вилки для многослойных бутербродов, шестьсот двадцать шесть килек, семьсот девятнадцать томов отборной литературы, четыреста бутылок лимонада, сто шестьдесят тетрадей в клетку, пара боксерских

перчаток и двадцатикилограммовая «груша»; семь чайных сервизов, шестнадцать рюмок, двадцать восемь бокалов, девяносто различных ложек, тридцать две вилки; тарелки, общей сложностью шестьдесят две, аквариум, шесть бутылок рыбьего жира, восемьдесят кочанов капусты; семьдесят бутылок водки, двадцать четыре — шампанского, сто шестьдесят — пива; вставная челюсть, клетка с попугаем, разобранное пианино, ведро проса, тромбон, шестьдесят две зубные щетки, сотня тюбиков зубной пасты, восемь электробритв, двадцать помазков, двенадцать чайников и одна расческа; шесть кастрюль, столько же сковородок, разобранная газовая плита, три раковины, четыре настенных ковра, пять — для пола; шесть подушек, семь одеял, разобранный стол, шкаф, секретер и три двуспальные кровати в таком же состоянии; две люстры, триста лампочек Ильича и сорок — дневного света; англо-русский словарь, полиэтиленовый пакет, видеокамера, календарь, три сотни аудио- и видеокассет; девять будильников, пять наручных часов, восемнадцать папок для бумаг, лыжи, два телефона, сто сорок килограммов отборного картофеля, одиннадцать коробок вермишели и сорок одна — макарон; лук, чеснок, красный и черный перец в трех больших мешках; валенки, детская коляска и семь коробок табака; старинный «ундервуд» и домашние тапочки.

Ексакустодиан Измайлов вел типичное существование гения, отдающего своему своему детищу. Окружающие, никогда не понимавшие Ексакустодиана, недолюбливали его. Да, он не был веселым человеком, не любил пустых разговоров, они невероятно раздражали его. Да, в одном случае он даже избил своего ученика, задававшего во время занятий глупые вопросы. Ученик, однако, остался жив. Прележав полгода в больнице, он опять пришел в «Вольное Общество Независимых Плотников». Отзанимался месяц. На большее его не хватило. Через месяц опять сорвался: о чем-то спросил, да так плоско, что Ексакустодиан забил его до смерти.

Если хотите, мы были как Чехов и Деревянкин. Один — в сумерках, полутонах, другой — в яркой, красивой жизни. Ексакустодиана, например, приводили в ярость мои оргии, вечеринки и белые ночи. Вокруг меня постоянно были хорошенькие женщины — это его бесило. «Независимый плотник, — говорил он, — должен жить как монах: здесь — ничего, там — все». Вот такой показательный пример. Во время одной из вакханалий, где мы с друзьями и подружками

производили страшный шум, уже в четвертом часу ночи, в самый разгар, к нам вдруг вышел Эксакустодиан и сел на стул недалеко от нас. Мы продолжали танцевать, петь, бесчинствовать, и вдруг он как-то тихо и проникновенно спросил: «А так ли будет после смерти?» Тут мы устыдились и, хотя Эксакустодиан сразу вышел, больше в эту ночь не бесчинствовали. И в другие дни, если и собирались, то не настолько бездумно, чтобы в оргиях потерять голову и забыть, что рано или поздно придется умереть.

Эксакустодиан умер в расцвете сил, полный идей, которые жаждал осуществить и которых у него с каждым днем прибавлялось. Он рассчитывал дожить до мотух лет, но, увы, его путь оборвался. Только представьте себе: если бы смерть не унесла Эксакустодиана и дала бы ему еще двадцать, пятьдесят лет жизни, какой бы мы имели гроб!.. Его нашли возле благоукрашенного, прекрасного гроба, который был идеально собран, мощно и плотно укомплектован, отделан со всей строгостью совершенства. Это было архитектурное откровение, гармонично сочетавшее элементы красного дерева, пластмассы и бронзы. Он сверкал на солнце, излучая хлопья бесчисленных зайчиков. Очарованные прохожие спрашивали в восторге: «Что это? Разве такое *делается руками?!*» Да! Делается! Светлая память тебе, Эксакустодиан!

Вскрытие показало: в желудке Эксакустодиана Измайлова не было ни крошки в течение трех последних месяцев.

Вы смертельно заболели. Что делать?

(*Эксакустодиан Измайлов*)

Добро пожаловать в Божью Семью!

(*Конец брошюры «Так говорит Библия. Вопросы и ответы».*)

Читайте с наслаждением! На этих страницах Вы найдете ответы на самые сложные вопросы, которые когда-либо возникали. Прочтите их. Прочтите внимательно. Прочтите с доверием.

(*Предисловие к брошюре «Так говорит Библия. Вопросы и ответы».*)

Самый простой способ — вскрыть себе вены, сидя в ванной. Петроний сделал именно так, правда, не будучи смертельно больным. Ваш случай тяжелее. Если вены уже

вскрыты — ни в коем случае не открывайте глаза. Вид исходящей крови может травмировать вас. Если же вы еще не вскрывали, лучше пока отложить бритву на туалетный столик, помыться в чистой воде, насухо вытереть тело, одеть махровый халат и, закурив хорошую сигарету, поразмышлять: где я нахожусь, сколько мне осталось жить, и где я буду находиться спустя некое количество времени? Наверняка вы придете к тому, что спустя некое количество времени здесь, где вы сейчас находитесь, вас никто не оставит, потому что вы в противном случае попросту измените микроклимат в квартире, начиная с воздуха и кончая психологической обстановкой. То есть, вы поймете, что та квартира (или дом), где, быть может, вы родились, жили и что так полюбили, хорошо, со вкусом обставили, не может никогда стать вашим *гробом*, какие бы усилия к этому не прилагались. Забейте двери досками — выломают, сделайте бронированную дверь — проломят стену через соседа, забронируйте стену — влезут в окно через пожарную лестницу, спрячьтесь в шкафу, под половицами, в стене — вытащат, а если и не вытащат — вашей квартирой, шкафами, столами, телевизором, хлебом — всем, включая кальсоны, станут владеть другие, — ваши мучения пропадут даром.

Не отчаивайтесь. Положение не безысходно. Поразмышляйте дальше. У вас не так мало времени, чтобы паниковать, но и не так много, чтобы вовсе не думать о *гробе*. Конечно, в идеальном варианте, личность начинает размышлять о гробе с самого раннего возраста, но проведенный нами ряд социологических исследований показывает, что далеко не все обременяют себя такого рода размышлениями.

Один из моих любимых учеников, одиннадцатилетний Перфилий Бессонов, по его признанию, впервые задумался о гробе в семь лет. Ребенок любит рисовать в тетрадках маленькие гробики и большие гробы, чтобы укладывать туда своих одноклассников, родственников и некоторых учителей. Иногда он рисует в гробике самого себя. Я узнал, как началось его увлечение. Оказывается, в семь лет с ним случилось некоторое прозрение *свыше*. Явилось ангелоподобное существо с вестью о смерти. Оно открыло глаза мальчика на то, что, хотя он умрет в глубокой старости, готовиться надо прямо сейчас. И с тех пор Перфилий не может отделаться от размышлений о гробе. Иногда они ему даже мешают, когда мальчик размышляет вслух.

«Гробу все возрасты покорны», «Никогда не поздно мечтать о гробе», «Мечтание — в действие», — вот девиз наших лекций. Мы остановились на том, что у вас в голове встал вопрос: не поздно ли я начал задаваться мечтой о гробе? «Нет!» — отвечаю я.

Прежде всего надо справиться у лечащего врача: сколько вам осталось? Если ничего путного эта тупица не скажет, прислушайтесь к своему телу, спросите его: «Сколько ты еще в состоянии протянуть, дружище?» Для этого необходима спокойная обстановка, максимальная концентрация и самоуглубление при минимальных связях с внешним миром. Избавьтесь от суетных мыслей. Ложитесь на гладкую поверхность, положите под голову небольшую подушечку, расслабьте члены, закройте глаза, мысленно направьте взгляд на одну точку посредине лица и не переводите на другие точки. Оставайтесь в таком положении тридцать два часа сорок минут, сначала успокаивая и приводя в *рабочее* состояние тело, а потом без остановки задавая ему одни и те же вопросы. Вы ни в коем случае не должны отвлекаться какой-либо *мыслью*, а тем более засыпать.

Выучите эти фразы. Вы должны проговаривать только их. Тогда ваше тело будет готово.

1. У меня всё есть.
2. У меня есть всё.
3. Как хорошо.
4. Как было плохо.
5. А как теперь хорошо!
6. У меня всё есть.
7. У меня есть всё.
8. Я — совершенство.
9. Мне спокойно.
10. Руки, ноги и голова не имеют никакого значения.
11. Они мне не нужны.
12. Я обхожусь без них.
13. У меня всё есть.
14. У меня есть всё.
15. Но я знаю, что у меня будет больше того, что есть сейчас.
16. Я не приложу к этому никаких усилий.
17. Оно будет само.
18. О! Как мне хорошо!

19. У меня всё есть.

20. У меня есть всё.

21. Энергия, сублимирующаяся в половых органах, в головном мозгу, во рту, в руках, ногах, желудочно-кишечном тракте и других органах, падает на глаза.

22. Она больше не беспокоит меня.

23. Пусть она беспокоит негодяев, подлецов, нуд, взяточников и тунеядцев, гомосексуалистов, бисексуалов и гетеросексуалов, предателей, ворюг, убийц, президентов, мэров, милиционеров, сволочей, карьеристов, женщин, игроков, дураков, тормозных персон, директора, его секретаря, власовцев, чернокнижников, скопцов, кооператоров, бизнесменов, брокеров, торговцев водкой, Верховный Совет, работников телевидения и Бетховена в прогнившем гробу!

24. Как мне хорошо!

25. У меня всё есть.

26. У меня есть всё.

27. У меня есть слава, деньги, семьсот двадцать пять женщин, огромный автомобиль, яхта, вертолет, пятиэтажная дача-крепость с приусадебным участком, колючей проволокой и ротой автоматчиков.

28. Я — совершенство.

29. Но я знаю, что у меня будет больше того, что есть сейчас.

30. Энергия, сублимирующаяся в произвольном участке моего тела и доводящая этот участок до агонии, до корчей и невыносимого воспаления, соединяющая меня с Аидом и рекой Коцит, не беспокоит меня более.

31. Она ушла.

32. Как мне хорошо!

33. У меня есть всё.

34. У меня всё есть.

35. Я — растение, питающееся влагой.

36. Я не питаюсь мясом.

37. Я — совершенство.

38. У меня есть всё.

39. У меня всё есть.

После многократного повторения этого блока вы почувствуете, как необычайно далеко ушли от суетных проблем. Больше ничего и не требовалось. Где-то на восемнадцатом часу в теле должно наступить спокойствие. Тогда вы сможете задать ему несколько вопросов, которые также следует

многократно повторять, пока не явится ясный, четкий, не предполагающий сомнений ответ *свыше*:

1. Действительно ли мне хорошо?
2. А, может быть, я в бреде?
3. Не сошел ли я с ума?
4. Быть или не быть?
5. Не лучше ли бросить начатое дело?
6. Неужели энергия, сублимирующаяся в половых органах, в головном мозгу, во рту, в руках, ногах, желудочно-кишечном тракте и других органах падает на глаза?
7. Не самообман ли это?
8. Не лучше ли бросить работу над гробом (или не начинать ее, если вы еще не начали), а жениться и нарожать себе потомство?
9. Почему я отвратителен моей возлюбленной?
10. Кого любит моя возлюбленная?
11. Поверит ли в мое дело моя возлюбленная?
12. Станет ли моя возлюбленная мне другом и соратником в изготовлении гроба?
13. Если я умру, поставят ли мне памятник?
14. Сколько мне поставят памятников?
15. Как долго продержится моя слава?
16. Действительно ли у меня столько славы и денег, как я думаю?
17. Действительно ли у меня семьсот двадцать пять женщин, огромный автомобиль, яхта, вертолет и пятиэтажная дача-крепость с приусадебным участком, колючей проволокой и ротой автоматчиков?
18. Если это действительно так, то где они?
19. Хороший ли мне предназначен гроб?
20. Какой длины будет мой гроб?
21. Быть или не быть?
22. Делать ли гроб сплошь из красного дерева или включать в красное дерево элементы пластмассы и бронзы?
23. Будет ли в моем гробу телевизор?
24. Какая музыка будет звучать на моих похоронах?
25. Согласится ли лечь со мною в гроб моя возлюбленная?
26. Если да, то когда нам предстоит лечь в гроб?
27. Быть или не быть?
28. Если моя возлюбленная не согласится лечь со мной в гроб, то когда мне предстоит лечь в гроб?
29. Кушать ли перед тем, как лечь в гроб?

Если вы все сделаете правильно, то к тридцать первому часу получите удовлетворительные ответы. Последний час останется вам для наслаждения своими правильными ответами и своим совершенством. Это идеальное состояние нельзя затягивать, так как оно длится не больше полутора часов. Точно все рассчитайте. Помните: если вы пролежите больше тридцати трех часов, вы рискуете внезапно потерять гармонию и погрузиться в хаос сомнений. В голове не останется ни одного конкретного ответа. Поэтому немедленно поднимайтесь через тридцать два часа сорок минут и зафиксируйте полученные ответы на заранее подготовленной бумаге с аккуратным столбиком вопросов.

Итак, я предполагаю, что всю полученную информацию можно разделить на две категории:

1. Либо вы решили строить гроб (или продолжать).
2. Либо вы отказываетесь от этого.

Людей второй категории я, как правило, выгоняю со своих лекций. Я могу отличить первых от вторых визуально, а также по одной единственной реплике. Так что лучше уйти самому, чем испытать на себе мое неудовольствие. Предупреждаю, что я быстро, почти мгновенно, выхожу из себя. У меня учился один молодой человек, который не умел вовремя прочувствовать этот момент. Он появлялся перед моими глазами дважды, а когда он поставил под сомнение обнаруженное мной соотношение ширины и высоты гроба (о чем еще будет речь), я был вынужден его просто-напросто убить. Свои лекции я рассчитываю на тех, кто твердо решил делать гроб, а не тарашиться на меня удивленными глазами и задавать лишние вопросы. Вместе с тем, я люблю толковые вопросы *по существу*. Наши занятия будут строиться *диалогически*.

Словом, вы решили сделать гроб. Для этого вам надо стать:

1. *Плотником и слесарем*. То есть, разбираться в породах древесины, видах металлов и пластмасс, а разобравшись, не смотреть на них как алкоголик на пустые прилавки. Другими словами, пустить пару своих рук не в дело выгребания упругих комков из ноздрей и серы из ушных раковин, а в дело строительства гроба.

Как мне стало известно в процессе занятий, люди делятся на две категории:

а) с руками, растущими на уровне подбородка, если их вытянуть горизонтально, и приспособленными для работы *вперед*;

б) с руками, растущими ниже уровня спины и приспособленными для работы *сзади*.

Личности категории «б» не могут быть свободными плотниками и должны либо выметаться из «Вольного Общества», либо делать *всё как у людей*.

2. *Человеком*, который, посвящая *всего себя* делу последнего жилища, снижает свои жизненные запросы до почти карикатурного минимума. Он должен обосноваться в том шаге от карикатуры, который обеспечивает минимальное расстояние от великого до смешного.

3. *Дизайнером*. Необходимость творческого, эклектического подхода к новому искусству. Мы синтезируем элементы практически всех действующих искусств в *искусстве будущего*.

4. *Тружеником* усердным. Если вы решили набить свой гроб святым духом, то вы не в то общество попали. Вам место в университете или в кулинарном техникуме. Безусловное условие из безусловных условий гласит: *в поте лица добывай и приумножай* различные ценности, начиная с продуктов, кончая мебелью с пачками тампонов или мебелью с коробками презервативов.

5. *Бизнесменом*. То есть, хорошо разбираться в конъюнктуре рынка, в ценах, что поможет не продешевить при покупке ценностей в гроб. Помните, что говорят англичане: мы не так богаты, чтобы покупать плохие вещи, но и не так бедны, чтобы построить себе плохой гроб.

6. *Литератором*. Вы должны грамотно и изящно составить завещание. Завещание — единственный остающийся после вас литературный документ. Поэтому масштаба Достоевского или Толстого вас быть никто не понуждает, тем не менее связать пару-другую слов на листе бумаги надо уметь.

7. *Музыкантом* или *музыковедом*. Необходимо отлично разбираться в траурных маршах, русской православной музыке и всякого рода мессах и реквиемах.

В общем, нам предстоит еще много и много потрудиться, чтобы достичь того состояния, когда каждый из вас сможет сказать: «Я — совершенство. Я сделал прекрасный гроб. Я могу спокойно в него лечь. Аминь!»

А что, если?

(Иосиф Пенкин)

Мы видим руки дона Хайме, его дрожащие пальцы, расстегивающие платье Виридианы. Обнажаются шея и часть груди. Это молодое, столь желанное и совершенно беззащитное тело теперь в его власти. Дон Хайме в полном смятении.

(Луис Бунюэль. Сценарий фильма «Виридиана».)

А теперь представьте, что вам на голову падает кирпич. Для меня всегда оставалось загадкой: что успеет и чего не успеет сообразить человек с кирпичом на голове: вот он есть (кирпич), и вот его уже нет (кирпича); он, разбитый (быть может, на две, три, сотню осколков), жалкий, бесцельный лежит возле вас. Успеете ли вы, как полагается, вспомнить всех родственников, наиболее яркие эпизоды детства, отрочества, юности? Или перед глазами промелькнет лишь одна какая-нибудь физиономия, скорее всего, самая отвратительная из встречавшихся (тещи, ее дочери и т. д.), как вы уже забудете про все на свете...

Я пытался однажды рассчитать процент попадания кирпича на одну, отдельно взятую личность. У меня вышло число 0,0000029.

Но не думайте, что вы якобы в безопасности. На вас может наехать грузовик, вас может засосать под рабочую лопасть баржи, в отпуске, на заслуженном отдыхе, купаясь. Никто вас не страховал от падения с самолета, с балкона, поливая цветочки, от ядовитых грибов, гнилых досок в полном сортире. Не говоря уже о том, как можно захлебнуться в ванной, задохнуться в лифте, задуматься пешком и стукнуть виском по светофору, ввести в вену никотин вместо кокаина или выпить цианистый калий вместо кефира, сесть на нож черному торговцу апельсинами, бриться и резаться до смерти, получить разрыв сердца или палкой по голове — все это ежеминутно угрожает человеку, беспечно не утруждающего себя идеей гроба.

Я хочу рассказать о том тернистом пути, который привел меня к мысли о гробе. Думать о нем и делать первые заготовки я начал, как уже сказал в предисловии, немногим более пяти лет назад. Чем я жил до этого? Теперь, оглядываясь на пройденный путь, мне нечего вспомнить, нечего подчеркнуть в нем сколько-нибудь полезного,

По сути дела, я не жил целых сто двадцать лет. Жизнь для меня началась пять лет назад, с простого вопроса Эксакустодиана: «А что, если тебе на голову упадет кирпич?»

Теперь мне стыдно, но кое-что придется вспомнить. Хотя бы ради того, чтобы дать читателям понять, из какой трясины можно было выбраться и встать на единственно верный путь изготовления гроба.

Грешная жизнь Иосифа Пенкина

Пролог.

Как-то раз...

Ночь. Балкон. У балкона человек точит бритву. Он смотрит на небо и видит сквозь стекло...

Легкое облачко, приближающееся к полной луне. Потом...

Лицо девушки. Ее глаза широко раскрыты.

К глазу подносится лезвие.

Облачко проплывает перед луной.

Лезвие рассекает глаз. Тот вытекает.

Восемь лет спустя.

Пустынная улица. Дождь. Появляется странный персонаж в темно-сером костюме, на велосипеде и т. д.

*(Луис Бунюэль, Сальвадор Дали.
Сценарий фильма «Андалузский пес».)*

Специфика моей памяти (как и памяти любого свободного плотника) такова, что я, как ни стараюсь, не могу вспомнить ни одной жизненной ситуации, имевшей место более чем двадцать лет назад. В голове проносятся только бутылки, страстные женские объятия, фрагменты полученного удовольствия и т. д. Но как только я переступаю столетний рубеж, память более четко рисует мне картины оргий, сексуальных актов, тяжелого желудка, чувства опьянения и, как венец, — слияние трех последних ощущений в целостную картину. Я могу даже припомнить имена девиц, некоторые сорта вин и конкретные блюда на лирах.

Есть несколько типов памяти:

1. *Память фрагментарная.*
2. *Память логическая.*
3. *Память эмоциональная.*
4. *Память практическая.* (Ее особенность в том, что человек восстанавливает события с помощью опорных маяков,

Для практической памяти это — крупные приобретения, получение некоторых сумм денег. Вспомнив, скажем, повышенную зарплату, в такой памяти тут же выстраивается последующая неделя или месяц, согласно сделанным покупкам.)

5. *Память желудка.* (Человек, допустим, поел торт или до безобразия переел мяса. Тотчас в его голове возникает общая картина вплоть до следующего торта или безобразного перенасыщения.)

6. *Память поэтическая.* (Здесь опорные сигналы — точки самоубийства плюс собираемые поэтически настроенной личностью плевки и оскорбления со стороны тех, от кого ему хочется или не хочется их получать.)

7. *Память оргазменная.* (Человек мерит свою жизнь от одного до другого любовного приключения. Таков был я...))

8. *Память о будущем.* (Таков я стал. Таковым должен быть всякий свободный плотник. Ексакустодиан Измайлов объяснял этот вид памяти как перенос вашего основного вида памяти *до прозрения* — в будущее. То есть, — мне трудно объяснить, это надо чувствовать — я переживаю как бы свою будущую любовную ситуацию, потом другую и т. д. как бы заново.)

Я не люблю психологию, анализ, психоанализ...

Доктор Александр посмотрел «Андалузского пса» и написал мне, что смертельно напуган или, если угодно, в ужасе, и не желал бы иметь каких-либо отношений с человеком по имени Луис Бунюэль.

Я задаю простой вопрос: разве должен так вести себя врач-психолог?

(Луис Бунюэль. «Мой последний вздох».)

Я люблю одиночество.

(Луис Бунюэль. «Мой последний вздох».)

Я проиллюстрирую особенность памяти вольного плотника на примере одного эпизода. Этот эпизод был, но я как бы переживаю его в будущем. Мои эмоции там, впереди. Проще говоря, в гробу.

Отмечали как раз мое двадцатилетие. Сто двадцать лет — большое событие в жизни человека. В одной из своих лекций Ексакустодиан Измайлов делит жизнь человека на

отрезки по 12 лет. Понятно, что отрезок в 120 лет — значительная века. Меняются устои, убеждения, мировосприятие.

Меня навестило большинство моих друзей. Пришло много женщин. В общей сложности собралось триста сорок четыре человека. Среди них была одна, чей мизинец я не отдал бы за все триста сорок три остальные головы. Эксакустодиана, сторонившегося подобных мероприятий, там не было.

На обильном столе можно было найти: семьсот двадцать литров спирта, восемьсот семьдесят шесть бутылок шампанского, триста две — водки; подано: двести восемнадцать жареных поросят, девятьсот семьдесят три утки в томате, а также бараньи лопатки, говяжьи котлеты, красная икра, осетрина, раки, форель, камбала, карпы, шуки, креветки, вареный картофель, рис, каша, молоко, сливки, кефир, простокваша, ряженка, сметана и творог, сыры, виноград, чернослив, мороженое, яйца всмятку, яйца вкрутую, яичница-глазунья, лимонад, грецкие орехи, фиги, салаты из морской капусты, селедки и свеклы, сосиски, ливерная колбаса, ветчина, свиная колбаса, кровяная, сервелат, фрикадельки, капуста обыкновенная и цветная, сало, чебуреки, рагу, четыре вида бульонов, супы на любой вкус, жаркое — это все никто не взялся бы подсчитать. Кроме того, пятьсот буханок черного и четыреста белого, сто двадцать шесть кукурузного и двести четыре сдобного хлеба.

Вкатили торт трехметровой высоты со сто двадцатью свечами.

Как только я задул свечи, праздник начался. Поллитровые кружки царили. Их заполнили половина-на-половину шампанским и спиртом.

«Братья и сестры, — сказал мой лучший друг Иоаким Афиногенов, — перед вами человек, которому исполняется сто двадцать лет!!!»

Так Иоаким опрокинул шампанское вовнутрь под общий гром рукоплесканий. После него то же самое проделали братья и сестры. На второй кружке я отважился увести в свободную комнату свет моих очей, Блондину, и понял там, что вся моя предыдущая жизнь была лишь подготовкой к встрече с Блондиной. Меня распирало до того высокое, необъяснимое чувство восторга и любви, что я не мог вымолвить ни слова.

— Раздевайся! — наконец выплеснул я,

— Хотя вы и именинник, — резонно ответила девушка, — вы не имеете права!

Я крепко обнял ее за плечи и стал срывать платье. Мне необъяснимое чувство восторга сменилось страстной любовью к Блондине. Она располагала всем, что имеет прекрасный пол, доводящий нас до безумия, кончающегося необыкновенным просветлением.

Когда мы через десяток минут покинули *комнату любви*, мне показалось, что есть только две вещи, достойные восхищения: бездонное небо над головой, усеянное крупными недосыгаемых звезд, и симфония человеческого Духа, к которой чем внимательнее прислушиваешься, тем больше обретаешь гармонии.

А в зале было царство подогретого праздника. Кто-то уж ползал, иные спали. Но человек двести нашли в себе силы не подчиниться меланхолии меньшинства. Из них-то и выделилось два хора (первый запевал «Великое Славословие», второй — исконно народную, хотя и не заукоиную песню), три кружка по интересам с обобщенно-философскими амбициями (один, четыремя языками, дебатировал вопрос, хороша ли нам инфляция; второй, побольше, семью голосами, проникал в бездны жилищных и продовольственных проблем; а еще семьдесят человек вообще не понятно, о чем толковали). Тем не менее, я присоединился к последним, отхлебывая из новой кружки, которую держал в левой руке, и прикладываясь к жареному поросенку, который, весь в чесночном соусе, находился в правой.

— Для меня женщина — прежде всего личность!

— Как это правильно!

— Вам интересно здесь?

— Немного. Вы считаете меня душой?

— Почему вы так решили?

— Вы полагаете, мне интересно только на кухне? Ха! Ха! Ха!

— Я вижу в вас прежде всего личность...

— Правильно, правильно!

— Мне нравится интеллектуальное общение с женщиной...

— Ха! Ха! Ха!

— У вас есть ручка?

— У меня «ундервуд» в гардеробе.

— Идемте! Я сейчас все объясню...

— Это огромные лохматые обезьяны, я вам скажу!

- Не будь так категорична...
- Да! Многие говорят, что я категорична, что у меня трудный характер, что со мной трудно ужиться, что я...
- Верите ли вы в первую любовь?
- Да!!!
- А в любовь с первого взгляда?
- Да!!!
- А в загробную жизнь?
- Да!!!
- А еще шампанского?
- Да!!!
- Вот, пейте. Не правда ли, яйцо всмятку сегодня более удачно, чем крутые яйца?
- Да!!!
- Вот вам всмятку. Сигарету?
- Да!!!
- Не давитесь. Сначала едят, потом курят. Здесь мило. Вы не находите?
- Да!!!
- Пейте живее. По голове бьет?
- Да!!!
- Яйцо потом. Покурите по дороге...
- ...а еще я скажу вам! Вам еще скажу... Вот вам: всякий, кто смотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействовал с ней в душе своей!
- Это извращение.
- Не хотите ли вы тогда сказать, что Иисус Христос — извращенец?!
- Отстаньте!
- Вы не договорили! Итак, вы утверждаете, что...
- Залейте ему глотку шампанским!
- Если я вас правильно понял, вы — негодяй!
- А вы — скопец!
- А вы — блудодей!
- А вы — тоже извращенец, как и ваш...
- Иуда!
- Дегенерат!
- Развратник!
- Мухомор!
- Дебил!
- Импотент!
- Хам!
- Дряблая курща!

— Кусок мяса!

— Чучело!

«Нелля! Милая, прекрасная Нелля! И ты здесь! Ах, сколько, сколько мы не были вместе!» — думал я, глядя на ту, чей мизинец не отдал бы за все это сборище вместе взятое. «Ты по-прежнему горда и прекрасна, Нелля!» И тут вдруг я почувствовал, что меня приподняло до того необъяснимое и высокое чувство, что, случись мне что-нибудь сказать Нелле, я бы этого сделать не смог.

Дальнейшее было подобно несбывающимся снам. Как два белых лебедя в стае ворон, мы нашли друг друга глазами и поплыли куда-то, закружились, вознеслись и оказались в *комнате любви*. Там кишело нечто, разбросанное по полу, но мы никого не видели. Мы понимали друг друга каждым жестом, каждым движением ресниц. Лишь избранным дается полное духовное и природное единение, какое испытали в этот миг два человека: я и Нелля.

И когда чудо свершилось и, по словам поэта, была мне милость дарована, «алтарные ворота отворены», когда я уж погружался в благосклонные пещеры любви, оглушительный крик прервал наше восхождение.

Буквально все, кто находился в *комнате любви*, смотрели теперь на трепетавшую девушку. О! Как она была прекрасна в своем ужасе! Страх объял все члены несчастной. Она забилась в угол и, дрожа, смотрела на безжизненное тело своего возлюбленного. Я подошел к девушке. Это была Блондина. Узнав меня, она упала в мои объятия, содрогаясь в рыданиях. Слезы текли ручьями из безутешных глаз. Я почувствовал, как слезы эти спаивают наши сердца. «Блондина, — думал я, — ах, Блондина, Блондина!»

— Он мертв? — спросил я.

— Да... — сказала девушка, приходя в сознание.

(Мне почему-то не хотелось, чтобы она приходила в сознание.)

— Как это случилось?

— Нам было так хорошо... Кто бы мог подумать? Все вышло так одновременно... А когда я почувствовала, что нам никогда так не было хорошо, он замычал и умер.

Я перевернул труп и узнал в просветленных чертах лица своего друга Георгия. Никогда не покидавшая моего друга улыбка вдруг обрела какой-то смысл, и я подумал, что у него даже нет гроба. Ему предстоит лечь в простой неотесанный ящик, на скорую руку сколоченный гробовщиком,

куда невозможно положить ничего, кроме носков, штиблет и авторучки.

— Георгий, Георгий! — чуть слышно произнес я. — Умер при исполнении...

Минут через десять мы с Блондиной почувствовали какое-то необыкновенное просветление. Выходя из *комнаты любви*, мне вдруг показалось, что есть две вещи, достойные восхищения: бездонное небо над головой, усеянное крупными недосыгаемых звезд, и симфония человеческой личности, к которой, чем лучше прислушиваешься, тем больше обретаешь успокоения...

Теперь вам понятно, как устроена память свободного плотника: то, что он вспоминает, было, но для того времени, когда он вспоминает, это как бы будет...

Я люблю наблюдать за животными, особенно за насекомыми. Их физиология, как и анатомия, меня не интересует. Просто интересно наблюдать их привычки.

(Луис Бунюэль. «Мой последний вздох».)

Как я пришел к мысли о гробе? Наверное, это получилось само собой. Все должно протекать *естественно*. Случай с Георгием только укрепил меня.

Любой человек должен сам подойти к необходимости строить гроб. Без нажима. Давление здесь грозит чудовищными последствиями. Я никогда не навязываю человеку своего мнения. Я только задаю ему иногда простой вопрос, который любил задавать Ексакустодян: «А что, если тебе на голову упадет кирпич?»

Что делать с веревкой и куском мыла?

(Ексакустодян Измайлов)

Окраска поросят йоркширской породы обусловлена молекулами гемоглобина, в которых молекулы кислорода связаны с имеющимися в них атомами железа. Кожа человека европеоидной расы имеет розовый оттенок по той же причине.

(П. Эткинс. «Молекулы».)

Вполне вероятно, вам рано или поздно придется наложить на себя руки. Конечно, и вы, и близкие ваши мечтают только о том, чтобы это произошло красиво, цельно, *эстети-*

чески значимо, с одной стороны, и с рядом грандиозных последствий — с другой. Самоубийца не был бы самоубийцей, если бы не предполагал своей *акцией* повергнуть мир в хаос, передвинуть горы с мест, где они стояли, в места, где они должны стоять. Все сущее уходит вслед за актом самоубийства. Любое предположение самоубийцы о том, что *ничего на свете не изменится* в результате его *акции* (а, более того, утрамбуется, станет комфортабельнее, удобнее, чище), превращает даже самую укоренившуюся идею покончить с жизнью в карикатуру, и *акция* либо проваливается, либо затягивается до следующей *точки самоубийства*.

Николай Бердяев полагал, что к помощи веревки и куска мыла прибегают в двух случаях:

1. От избытка сил.
2. От недостатка их.

По сути дела, первое есть зеркальное отражение второго.

Каковы причины самоубийства? Они, на первый взгляд, так же непонятны, как и причины войны, например. Давайте пока ограничимся объяснением через переизбыток сил. Основной инстинкт самоубийцы, повторяю, есть осуществленная попытка взорвать мир, оставить от жалкого местопребывания пепелище. Главный герой выходит из контекста жизни и представляет ее себе в качестве театральных подмостков, где олицетворенная в нем добродетель погибает от олицетворенной в других действующих лицах грязи. Конфликт целиком переносится на воображаемую сцену. Связь в жизнь потеряна (если бы она была, не было бы и театральных подмостков, не было внутренней цельности *акции*). Весь мир не взорвешь, да и в ощущении себя как колесика на бусах нет ничего *трагического*. Трагическое появляется в том колесике, которое вынули из бус, и по причине дисгармонии с ними оставили невостребованным.

Внушить самоубийце, что мир с его уходом не перевернется, равносильно отмене самоубийства и постановке героя на место, в контекст жизни, востребованию его переизбытка. Но этим, как правило, некому заниматься, или занимаются, в большинстве случаев, совершенно *не те*. Тот же, кому природой предназначалось *принимать* переизбыток (так мы подошли к вопросу пола), со всех ног убегает в сторону, а воображаемых зрителей в театре, кому надо было поглотить духовное семя несчастного, чаще всего вообще не существует.

Вот результаты опроса среди потенциальных самоубийц:

Я решил наложить на себя руки:

из-за женщины	69%
из-за мужчины	22%
не хватило зарплаты	0,8%
по другим соображениям	5%
не успевали или затруднялись ответить	3,2%

Итого 100%

Все самоубийцы сходятся в благородном соображении, что если бы *ею (им)* завладели более достойные, то вряд ли дело зашло бы так далеко.

В связи с этим эпизодом мне вспоминается следующий народный афоризм: «Праведным Бог посылает грешных смерть, а грешным — праведных смерть». Так что не стоит особенно шарахаться от последствий самоубийства. Вполне возможно, вы окажетесь в одной компании с Пушкиным, Лермонтовым, Есениным и Цветаевой. Будет о чем поговорить. Все они очень интересные люди.

Итак, доминирующей причиной фатальных неприятностей следует считать *родовой инстинкт*. Это введенное Шопенгауэром понятие нам весьма пригодится. Приведенная таблица показывает, что 91% самоубийств произошло на почве неудовлетворенного инстинкта рода. Как мы увидим далее, здесь все гораздо серьезнее, чем просто сексуальность, потому как в основе лежат глубоко религиозные корни, при повреждении которых рушится целое древо жизни. По нашим данным, 83% самоубийц довели начатое до конца.

(Смотрю, вы заикнулись на единственном в вашем положении вопросе: как это Эксакустодиан отличает потенциального самоубийцу от простого смертного? Дело в том, что свободный плотник по специфике своей деятельности разбирается в людях не столько на уровне «плохой — хороший», сколько на уровне *«жилец — не жилец»*. Самоубийцу всегда окружает особое *поле* (аура), которое в состоянии зарегистрировать только свободный плотник высокого уровня или человек со столь же напряженным полем, позволяющим взаимодействовать с другими полями. Как поле электромагнитное ищет себе магнит, так и здесь. По сути дела, речь идет об энергии, отыскавшей выход не вовне (другой человек или театр), а в себе же, что дает в результате качественно новое образование — *поле самоубийцы*.)

Прежде чем воспользоваться веревкой с мылом,
решите для себя: точно ли вы этого хотите?

(Ексакустодиан Измайлов)

Беда только в том, что тех, кто стремился
ко мне, я, в общем-то, не любила... те же, кем
я увлекалась, не любили меня...

(Эдит Пиэф. «Моя жизнь».)

Займемся теперь расшифровкой шопенгауэровского понятия инстинкта рода и инстинкта личности.

Инстинкт рода имеет два главных проявления: до потомства и после. Во втором случае он абсолютно безопасен. Поэтому нас интересует первый случай: что толкает мужчину или женщину обладать именно тем представителем противоположного пола, на которого указывает вектор страсти (любви). Надо отбросить вымыслы о сексуальных гигантах, *делающих все*, чтобы добиться какой-либо женщины, а затем, с таким же космическим усердием, добивающихся следующей, а потом еще и еще, и т. д., только из-за положительных *личных* качеств понравившихся им особей, то есть, не имея в виду *продолжение рода*. Подобные случаи любвеобилия действительно имеют место, но усердие там исходит, в основном, с противоположной, женской стороны (имеется в виду представитель любого пола, в данных отношениях взявший, вернее, принявший на себя женские функции). Когда мужчина любит *саму женщину* (грубо говоря, ее *личные* достоинства и недостатки) *прежде*, чем полюбить (подсознательно) то, что *внутри ее* от семени *его*, или (что гораздо чаще, ибо данный склад любви — чисто женский) женщина любит *самого* мужчину, то они такими отношениями лишь удовлетворяют свой *инстинкт личности*, и не более того. Такая любовь холодна, практична и редко распадается, если устраивает обоих участников. Чем *привязаннее* пара любит друг друга, чем больше там взаимопонимания, взаимоловования, спокойного существования и связанной с этим плесени отношений, тем ничтожнее там родовой Бог. Они не *взрываются* ребенком, не совершают вселенской *акции* рождения *нового*. Ибо *нового* в ребенке будет мало, а будет нечто *то же самое*. Для них рождение младенца — череда таких же будней, как и рабочие дни, выходные, праздники, как обед, ужин, пресная постель и чтение газет. В идеале личностная любовь — это, наряду с полным взаимопониманием, одинаковые носы, глаза, темпераменты, национальные, интеллектуальные и, какие только можно вообразить, дру-

гие показатели. Они все знают друг о друге и друг через друга занимаются физическим нарциссизмом и духовным лесбиянством. Их идеальный ребенок — полное отсутствие хоть какого-нибудь контраста, тупой, как старый пенс, с нулевым диапазоном душевной работы, но зато не то, чтобы приближающийся к *точкам самоубийства*, а вообще имеющий прямую линию в разбросе жизненной энергии.

Я подразумеваю под ребенком не только телесное дитя, характер которого определяется миллионами факторов, а, скорее, того *ангела любви*, что возникает над обоими и не проявляется материально.

Это взаимо-женский, лесбийский вид любви. Когда встречаются особи, пренебрегаемые родовым Богом, им ничего не остается, как полностью задействовать личностные инстинкты. Почему женский? Во-первых, личностями все-таки всегда были мужчины. Даже теперь, когда вместо личности мы встречаем нечто неопределенно-размазанное, на мифологическом уровне памяти зафиксирована *мужская* обязанность быть личностью, и *женская* — восхищаться и благоговеть перед ней. Во-вторых, женщина даже биологически создана *принимать*. Она, в общем-то, в состоянии принять любого. Род ею не управляет; родовой вопрос, ответ на который дается *через* мужчину, а не самим мужчиной: «получится — не получится?» — перед женщиной не стоит. Это избирательный характер любви: «нравится — не нравится», а отнюдь не трагический: «да или нет». Очень правильно, по-моему, говорят: «Внешность женщины — любовь, сущность ее — разум; внешность мужчины — разум, сущность его — любовь».

Настоящий родовой инстинкт женщины пробуждается в тот момент, когда мужчина от него освобождается — в момент зачатия, и имеет свои формы: *она* за чадом жизнь положит, уже имея его *в реальности*, плоть от плоти, *своего*. И мужчина кладет жизнь за то, что еще в нем, в *его* чреве, тоже плоть от плоти. Акт зачатия перекладывает родовой долг с *него* на *нее*. И, опять же, по физиологии мужская похоть (в 20 лет) гораздо выше, болезненнее женской, то есть, *он* гораздо больше заинтересован в ребенке, хотя часто этого не понимает.

Родовой инстинкт до зачатия — мужская привилегия, тем не менее, женщины страдают им, хотя и значительно реже, но отнюдь не слабее. Причем, это вовсе не значит, что данная женщина мужеподобна. Это значит только, что она —

гений рода, т. е. обладает верховным даром, который может коснуться кого угодно. Самые запоминающиеся примеры гениальных женщин в античной трагедии — Федра и Мелдея — не понимали, что делают, не понимали, зачем и кого любят, и патворили массу *неразумных* вещей. Отличить родового гения в серенькой массе людей не составит труда даже последнему идиоту. Гений не ведает, что творит: род избирает *ему* или *ей* прямо *противоположное* себе, наименее комфортабельное и *понимающее*. Если женщина поступает так, забывая о нарциссических потребностях и вообще каких-либо потребностях, она достойна памятника. Мужчинам памятников ставить не надо, это — их благополучно забытая обязанность; но женщина, полюбившая, по-настоящему, гениально полюбившая, терпит куда больше несчастий за роковой дар. В нашей социологической таблице 22% потенциальных самоубийц-женщин — именно *гении рода*.

Женщин *гениев рода* очень немного. Они, как правило, кончают трагедией. Мужчина редко себе признается, что он должен отвечать на женскую страсть. Если и признается, то долго не проживет с той, которой не нужна его *личность*, которая сквозь него самого видит лишь ребенка да вдобавок во всем ему противоположна.

Мужчине под гением рода *проще*, несмотря на ту же трагедийную развязку. Родовой инстинкт приводит к параною, виселице и тому подобным вещам, если не произойдет нескольких благоприятных совпадений. А именно: избранная им особа должна вместишь в себя: во-первых, личностную любовь (что не редкость), во-вторых, определенный талант жертвовать этой любовью и, вместо нарциссизма, принять человека, которого надо любить тем, что у женщины теперь атрофировано: *родовой любовью*. Атрофировано не столько по их вине, сколько по вине неопределенно-размазанных мужчин. Здесь требуется столько жертв, что голове и сердцу ребенка, на которого и сваливается почти всегда долг жертвы, не вынести таких задач. *Талантом* я называю свойство, когда сквозь массу проблем, угрозу полнейшего непонимания друг друга (непонимания *прелести* взаимной и прочнейшего родового *понимания в корне*) обрушится красота естественной природы, разбудит *глубоко женские* (а не *чисто женские*) покровы, откроет родовые корни и толкнет к ответной любви. Несмотря на то, что поступки талантов и гениев вовсе не *подвиг*, а диктат верховного начала, памятник им все равно бы непомешал.

Но чаще всего корни рода так и остаются дремать, трагедия случается не между *двумя*, сопровождаясь дитём в качестве *катарсиса*, а в одинокой душе *гения рода*, который использует в качестве катарсиса двуствольное ружье и собственную голову.

Поэтому довольно мерзко иногда слышать: этот человек меня *понимал*, мы так *любили* друг друга, а теперь все *кончилось*. Кончилось — и поделом! У таких, понимающих, ничего и не начинается. *Понимающие* — это трясина, болото, паутина рода, расправляющаяся со своими гениями, которые ничего не желают понимать во имя красоты, что могла бы быть между мужчиной и женщиной. То есть, между каждым из вас, люди!

Здесь я разобрал только глубинные, *подсознательные* или *надсознательные* основания любви и показал вам, где существуют их противоположные полюса. Меня в данном случае не интересовали такие *сознательные* проявления инстинкта личности, как материальные запросы: деньги, статус, жилая площадь и т. д. Эти показатели до такой степени способны замутнить личностную, нарциссическую любовь, что запросто могут вытолкнуть ее (благо, она податлива, потому как не связана с корнями, но лишь со слабостью и капризами). Женщина, которая считает себя непродажной только потому, что статус и материальное состояние мужчины *равны* ее статусу и состоянию, ничем их не превосходят, и считает свою любовь благородной только на том основании, что в ней *взаимопонимание* и *спокойствие*, продажна незоснательно, но не менее омерзительно; продажна в духовном, а не материальном смысле. Продажна уже навеки, ибо та, что продалась материально, сознает это и может ответить человеку с родовым инстинктом (ее чувства свободны и ждут чуда — родовая любовь и есть чудо), а та, что продалась духовно, уже отдала свой дух в царство плесени, одинаковости и благодушного взаимопонимания. Ее природные корни уже никогда не обнажатся. Плесень покрывает их на глазах...

Ступай в монастырь...

К чему плодить грешников?

(Гамлет.)

Инстинкт рода и инстинкт личности — две борющиеся между собой силы. Они могут бороться благополучно лишь до той поры, пока не образовался первый заряд самоубий-

ства, первая язва. Как только рубец положен, заряд дан — инстинкт рода начинает *накручиваться не на ту ось*. С каждым новым рубцом он все менее способен раскрутить последний виток и дать ему крутиться в *нормальном* направлении. Другими словами, с каждым новым рубцом самоубийца все менее желает утолить свою страсть и все более — взорвать, разрушить существующий мир, так как он для него уже не жизнь, а с каждым днем — нарастающее действие трагедии, завершающейся выстрелом. Если говорить об инстинкте рода, то здесь речь идет лишь о *первой* и *последней* любви (независимо от возраста), о том моменте, когда срабатывает описанное переключение, и человек из создателя превращается в разрушителя. Часто он вместе с собой отправляет к праотцам и любимую (Рогожин, Отелло). При возникновении рубца-проказы ни о каких чувствах со стороны объекта любви не может быть речи. Они уже не воспринимаются самоубийцей. Бывает, что женщина по глупости затягивает процесс мучительного пробуждения страсти в мужчине и платит за это своей жизнью вместо заслуженных объятий; бывает, что память оказывается короткой и т. д., но во всех случаях, когда затронут родовой инстинкт, так или иначе расплачиваются оба.

Таким образом, нет ничего на этом свете серьезнее рода, как нет ничего более необходимого на том свете, чем гроб...

Но вам, конечно, будет интересно узнать, почему каждый второй человек, у которого были проблемы в первой любви, не наложил на себя руки? Я отвечаю вам только тогда, когда вы ответите мне: почему «праведным Бог посылает грешных смерть, а грешным — праведных смерть»?

...Как вы, наверное, заметили, среди подавляющего процента самоубийц на почве родовых неудач имеется 5% неудовлетворенных по некоторым другим причинам. Это извращенцы. Нам надо смириться с тем, что рядом существуют гомосексуалисты, лесбиянки, фетишисты, эксгибиционисты, вуайеристы, мазохисты, садисты и другие ненормальные товарищи. Не столько смириться, сколько понять и помочь таким людям обрести себя, не дать им с собой покончить. В конце концов, если уметь взглянуть на человека с *любовью* (не с тупым интересом, а именно с любовью), принять то, что он в состоянии дать, то можно оказаться с окрыленным извращенцем, которого вдруг поняли и полюбили, т. е. на высотах, куда вы еще никогда не поднимались в своих стабильных и предсказуемых постелях.

Ну, например, мазохист. Посмотрим на мазохиста-кавалера. До чего же мило и незащитно это дитя! Лупите его плеткой, но не отворачивайтесь, не затыкайте уши! Попытайтесь проникнуть в последние глубины человеческих страданий, вслушаться, о чем бормочет этот очаровательный *тии* после каждого удара. Бейте его сильнее, садче — и скоро вы почувствуете *в себе* струны, сливающиеся со струнами любимого. Вы никогда не думали, что это может быть так приятно? Дамы! После ночи с мазохистом вы — Колумбы, Ньютоны, Гагарины! Да можно ли представить весь космос чувств, которые открывает плетка и ночь с мазохистом?! Есть ли что-нибудь более подходящее для приятных впечатлений? Бейте! Бейте! Стегайте! Хлестайте! Полосуйте! Рвите! Рвите его кожу, мясо, нервы! Пусть это падшее создание, которому полагалось быть мужчиной, орет на всю улицу, на весь город, мир, Вселенную! Пусть он орет вам остановиться — не выпускайте плетку! Пусть будут видны его кости, и возлюбленный уж перестанет орать, пусть вы разрубите его на десяток частей — лупите, пока есть силы, сожмите зубы, заорите сами, только не кидайте плетку! Сделайте из *этого* кашу, мягкую жижу без костей и без цвета, пятно на земле! И кончайте лишь тогда, когда силы сами оставят вас.

...А если женщина встречает обаятельного, подглуповатого и чрезвычайно жизнерадостного мужчину, влюбляется, приглашает к себе на стакан чаю с жирным тортом; *тот* же достает из портфеля пицет, пару скальпелей, столовый тесак, свечи, паяльную лампу, кожаные ремни и плетку со множеством металлических прутиков, согнутых на концах?

Самое роковое в вашем случае — закричать. Не видать вам тогда ни обаяния, ни подглуповатой улыбки, ни чрезвычайно жизнерадостности! Лучше сделайте вот что... Вспомните: этот мужчина имеет массу положительных качеств, которые вы и полюбили. Во-первых, он обаятелен. Во-вторых, подглуповат. Ну, а в-третьих, чрезвычайно жизнерадостен. Скажите ему это. Если не поможет — полюбите его таким, каков он есть. Аминь.

...Чтобы уж раз и навсегда покончить с нашими извращениями, которые, как мы выяснили, тоже люди, тоже страдают от переизбытка, интересно было бы поговорить о *гениях*. Это, пожалуй, наименее изученная область аномального мира. Одна из его особенностей состоит в том, что человек, родившийся гением, сам в большинстве случаев не

в состоянии ответить на вопрос: что ему надо? Если, скажем, мазохисту снится женщина с плеткой, садисту — извивающаяся на земле дама, фетишисту — тапочки, а эксгибиционисту — стадион восхищенных зрителей, то *гениосексуалу* снятся кошмары. Его можно сравнить с эксгибиционистом в потребности во всеобщем внимании, с садистом в жажде этой публикой без остатка повелевать, с мазохистом в претензии принять на себя все ее плевки и пощечины, с гетеросексуалистом в поклонении женской плоти, с гомосексуалистом — в поклонении мужской, наконец, с вуайеристом в потребности *подсматривать, подслушивать* жизнь, и со многими другими неофициальными формами сексуального проявления.

Гениальность как синтез и высшая форма половых извращений

(*Ексакустодиан Измайлов*)

Только поэт знает, что над листом белой бумаги можно достичь гораздо большей концентрации, чем между простынями.

(*Иосиф Бродский.*)

Поэтом теперь называют не столько человека, укладывающего в рифму блоки слов, сколько некий образ жизни и склад ума. Толстой гораздо больше поэт, чем Вяземский, а Ницше — чем современный нам Гаврило Цветочкин. Гений — это не только высшая форма сексуальной дисгармонии, но еще и высшая форма поэгического мышления. Почему из всех извращений наиболее гонима *гениосексуальность*? Каждый смертный считает своим долгом отплатить гению самым пакостным из находящихся на его вооружении способов. Если гений не развился, а лишь едва-едва начал, то делается все возможное, чтобы *точка его самоубийства* была максимально приближена к настоящему моменту. Здоровая, неизвращенная часть общества инстинктивно чувствует: если не сейчас, то когда же? Сюсюкающий двадцатилетний Достоевский гораздо менее опасен, чем Достоевский — Иднот или Достоевский *в гробу*. В гробу личность достигает такой высоты, такого размаха, что рядом с ней покажутся микробами тучи современников и тучи следующих поколений. Уже до тридцатилетнего гения не допрыгнуть, чтобы хотя бы треснуть его палкой по коленке, не говоря уже о продуман-

ной, взвешенной оплеухе в лицо. Так что наиболее благоприятный момент — юность. Никогда не упускайте его, если представится возможность — загоняйте парня в гроб руками-ногами. Будет что вспомнить!

Но почему гениальность — высшая форма полового извращения? То, что она не *одно из*, понятно, так как она — синтез. Но почему высшая?

Вспомним ауру самоубийцы. Если у нас, простых смертных, она появляется после рубца и в запущенном состоянии стремительно разрастается, то у этих — с рождения. Гений не выключен из контекста жизни, а просто никогда в нем не состоял. *Точки самоубийства* начинаются с самого раннего возраста и продолжаются до глубокой старости, если их все удастся пережить. От жизненного контекста они зависят не в первую очередь. Здесь, главным образом, влияют общекосмические и внутренние факторы, которые в лучшем случае позволяют гению совершать *духовный половой акт*, а в худшем — не позволяют. Мы ограничим наш анализ *гениосексуализма* только теми, кто пользуется средствами искусства. Это нагляднее. *Акты* могут совершаться через музыкальный инструмент, рифму, прозу, картину и т. д. Само это извращение, как видите, не опасно. Что страшного, если человеку требуется потрясать большее количество людей, чем количество жены в постели? Тем более, делать это без помощи полового органа! Все здесь, казалось бы, смягчает вину, если она и была (самые-то основы жизни, инструменты рода остаются в чистоте и непорочности!). На первый взгляд, да! Но существует же историческое, религиозное отвращение к гениям: женщины, коллектива и т. д. Ведь не просто так! Ничего просто так не происходит. Гения (это *одного-то* — против армии!) ненавидят сильнее вора, тунядца, сильнее слабых, беспомощных людей или всех евреев, вместе взятых.

Я пытался объяснить прежде всего природу своей ненависти, и вот что у меня получилось. *Гениосексуалист* своим доказательством того, что возможна на порядок более высокая степень концентрации, чем она есть между простынями, переносит *святое* из основ жизни гораздо выше, туда, где совершенно другие основы, где и должно быть, в общем-то, *святое*, где оно уже не в дисгармонии с безобразием рождает трагедию, а в гармонии с прекрасным рождает красоту. А если мы еще примем во внимание, что это, искусственно перетянутое с небес *святое*, есть единственное оправ-

данье нашей жизни (оскверняя его, мы как-то всегда понимаем, что не зря родились на свет, что какую-то миссию уже выполняем), без него наша паутина находилась бы в таком мраке, что мы ни на минуту не просыпались бы, так вот, приняв это все во внимание, не лучше ли сразу уморить гения *своими руками*? А то ведь уйдет — а уж другие свой шанс не упустят; вы же останетесь сидеть в так и неосвещенном углу своей паутины с пальцем в носу.

Представьте себе такую ситуацию: вы (а вы, предположим, умный человек) и дурак, который о чем-то думает вслух, ну точь-в-точь как вы, только по-своему, по-дурацки, но совершенно искренне. Вам хочется его убить? Разумеется! А теперь представьте: дурак и вы (а вы, положим, умный человек), вы о чем-то вслух рассуждаете, а дурак в это время мыслит параллельно с вами. То есть, вы думаете точь-в-точь как он, только по-своему, умно думаете. Как, по-вашему, захочет он вас убить?

О немалой пользе носителей гениосексуальности

(*Ексакустодиан Измайлов*)

Работа для меня — сексуальный процесс. Ни одни отношения с другим человеком не приносили мне такого удовлетворения как работа. Без работы я невыносим.

(*Райнер Вернер Фасбиндер.*)

Очевидно, большинство гениев так и не стало ими, оказавшись задолго до — или на грани от — *своего слова* в тесных неуклюжих гробах, наскоро сколоченных из грубых досок, пронумерованных и отправленных либо в костер, либо в землю, где они, вероятнее всего, уже через десяток лет прогнивали, разлагались и смешивались с землей.

Несмотря на то, что *гениосексуальность* — это последняя степень дисгармонии и аномалии, надо отметить ряд положительных моментов, связанных с гениями (в мире не бывает ничего лишнего):

1. Их можно цитировать.
2. Толстыми книгами гениев можно затыкать толстые щели, подкладывать прессом на свежесклеенные листы, на них можно сидеть, между ними (как и внутри них) можно прятать деньги, их можно читать, дарить, ставить на полку,

переставлять, ими можно составить свою репутацию и репутацию дому своему, они кормят библиотекарей, книготорговцев, современных писак и т. д.

3. Картины гениев можно вешать, снимать, перевешивать, их можно обсуждать, покупать, продавать, ими можно умиляться, пользоваться, наслаждаться. Они составляют золотой фонд и репутацию любого города и государства.

4. Стихами и музыкой гениев можно прельщать, ругать, шокировать, повергать в трепет или в восхищение, их можно учить наизусть, исполнять с листа, листы после складывать в макулатуру и менять в обменном пункте на толстые книги гениев или склеивать листы между собой, прижимая их такими же толстыми книгами гениев.

О поэтических точках самоубийства

(*Ексакустодиан Измайлов*)

Проследите иной, даже и не такой яркий на первый взгляд, факт действительной жизни, и, если только вы в силах и имеете глаз, то найдете в нем глубину, какой нет и у Шекспира. Для иного наблюдателя все явления жизни проходят в самой трогательной простоте и до того понятны, что и думать не о чем, смотреть даже ни на что и не стоит. Другого же наблюдателя те же самые явления до того озаботят, что — не в силах, наконец, их обобщить и упростить, вытянуть в прямую линию и на том успокоиться, — он прибегает к другому упрощению и просто-напросто сажает себе пулю в лоб.

(*Федор Достоевский. «Дневник писателя».*)

Мы остановились на том, что перечислили некоторые позитивные стороны существования *гениосексуалистов*, которые худо-бедно компенсируют ту социальную опасность, носителями которой они являются до гроба.

Мы выбрали гениев для разговора о точках самоубийства потому, что это типичные самоубийцы-хроники, страдающие манией наложить на себя руки на протяжении всей жизни. У нас с вами если и случится такая неприятность, то в первый и последний раз.

Как уже было сказано, мысль пустить себе пулю в лоб есть результат внутренних процессов: резкого повышения

половой активности при невозможности ее полноценного удовлетворения. Что делает в этом случае нормальный здоровый человек? Вступает в связь с законной женой? Ни в коем случае! *У нормального человека не может быть точки самоубийства.*

А человек с неформальными методами сексуального существования (для нас это — *гениосексуалист*), как следует выносив под колпаком подполья свои помыслы, выплескивает их в предсмертном экстазе, когда уже снимаются все вопросы, кроме вопроса «Быть или не быть?».

...Каждый человек немного гений, равно как и эксгибиционист, фетишист, садист и т. д. Но не каждый додумывается развить порочное начало, чтобы вытеснить им основной гетеросексуальный инстинкт. Правильнее сказать, что никто вообще об этом не думает (гением — рождаются). Главенство того или иного инстинкта определяется природой, а уже потом *поливается* временем, самой личностью, ее окружением и т. д. Если слабо поливать, то личность чахнет, но никак не переменится, *не улучшится*. Бытует мнение, что можно исправить *гениосексуализм*, пустить его в русло гетеросексуального, родового и социального согласия. Какое нелепое предубеждение! Разумный совет, как поступать с нестандартным человеком, дает маркиз де Сад из тюремных стен: «Вам удалось запереть меня в этой клетке, но убейте меня или принимайте таким, каков я есть, потому что изменить меня вам не удастся».

Людей приводит в бешенство не сам результат труда (вернее, *акции*) *гениосексуалиста*, который они очень часто воспринимают не как пасквиль, а как оправдывающий их (т. е. серую массу) документ, и отнюдь не покушение на гетеросексуальную религию (которое сказывается не сразу), а прежде всего в земном, практическом смысле их бесит аура самоубийцы, которая неизменно сопровождается высоким (на грани!) уровнем заряда, толкающего ум — думать, руки — действовать, а душу — петь песни. Не имея в себе равного заряда и не обладая представлением, за счет чего он создан, простодушное окружение пытается опустить гения *на свое место*, а когда этого не получается, создает все предпосылки для реального самоубийства (т. е. по возможности перекрывает все клапаны — выходы энергии, опять же, с ребяческой инстинктивностью и естественностью).

Случается, *гениосексуалисты* становятся гениями формально, юридически, официально. Речь идет о тех, кто про-

явил достаточно усердия, чтобы разбавить ауру самоубийцы приемлемой для публики маской. Карузо посчастливилось обладать хорошим голосом, Шекспир развлекал Гамлета и Лира эстетикой их поступков, Толстой, при всем своем титаническом уме, убедил себя и других в реальном существовании Платона Каратаева и Натальи Ростовской. Гете знал, когда писал «Вертера», что публика ждет второго Руссо и т. д. Но, с другой стороны, не повезло таким *гениосексуалистам*, как Сократ, Достоевский, Бах или Фасбиндер, так и не подобравшим подходящей маски.

Гениосексуалистам свойственно вступать в контакт с теми, кто давно в гробу (*некрогениосексуализм*). Публика манит гения, но никогда не удовлетворяет ряд потребностей, которые в состоянии удовлетворить только такой же гений из гроба. Связь между гением и полярно заряженной толпой редко совершается на глубочайшем уровне. Как правило, публика воспринимает хороший слог, приятные краски и красивый голос, не доходя до нервов. Поэтому заменителем их отношений можно считать отношения двух *гениосексуалистов*, один из которых в гробу, а другой — жив; или — один еще не родился, а другой — жив и полагает первого как бы родившимся. Связь между двумя живыми *гениосексуалами* невозможна — из-за одинаковой мощности зарядов (ауры самоубийц).

Как составить завещание?

(*Ексакустодиан Измайлов*)

Пикассо говорил, что чем больше у человека расстояние между глазами, тем больше таланта. У гения — самые широко поставленные глаза.

(*Андрей Вознесенский. Телепередачи.*)

Завещание — единственный документ, который от вас останется и, возможно, сохранится на поверхности земли. Остальное мы договорились брать с собой. Сейчас я продемонстрирую, как лучше составить этот документ.

Главное правило: завещание должно соответствовать целям вашего ухода из жизни. Если вы ушли сами собой (Бог прибрал), то завещания, честно говоря, не потребуется, У вас *всё взято* с собой, распорядиться нечем, не волнуйтесь. Но если вы совершаете самоубийство, *акцию*, то здесь

важно не просто что-нибудь написать, а написать так, чтобы мир содрогнулся в восторге, ужасе или сострадании.

1. Вы совершаете самоубийство на почве неостребованного инстинкта рода. Возлюбленная погибает вместе с вами.

Так и пишете: «Мы уходим из жизни как два ангела. (Это сразу дает понять чистоту ваших помыслов.) Я понял, что любовь не может состояться в этом падшем, грязном мире. А еще я понял, как сказал Гельвеций, что «любовь — это дар небес, который требует, чтобы его лелеяли самые совершенные души и самое прекрасное воображение. Пылкие наслаждения усыпляются браком, дар небес утрачивается под влиянием грубого и безвкусного разврата, а выгода превращает его в товар». (Цитата из классика усиливает общий колорит. Но, смотрите, не злоупотребляйте цитатами! Могут подумать, что вы — книжный червяк и *не знаете жизни*, за что она вас и *наказала*.) Поэтому пишите дальше: «Я не книжный червяк. Жизнь мне хорошо знакома. Все покупается и продается. Я не хочу, чтобы *имярек* (ваша возлюбленная) покупалась и продавалась. Она достойна большего. Там мы будем любить друг друга так, как это было бы здесь, будь у меня мешок золота. Аминь».

Завещание должно быть емким, как черная дыра, нести заряд атомной бомбы и быть кратким, как ария Травиаты в эпицентре второго действия оперы. Длинное завещание я вам не рекомендую не потому, что его никто не станет читать, а потому, что вы расплыветесь по нему, и завещание потеряет триединство емкости, заряда и краткости. Завещание должно быть *гармонично*.

2. Вы совершаете самоубийство на почве неостребованного инстинкта рода. Возлюбленная остается. Ваш козырь — грядущее к вам сострадание и оценка по заслугам благородства помыслов.

Пишете: «Любимая! Ухожу как лишний человек, как ненужная никому тварь. Ты настолько совершенна, что теперь даже страшно вспомнить, как я смел дерзнуть овладеть тобой хотя бы мысленно. Чтобы прекратить этот бред, чтобы не пугать и не затруднять тебя своими чувствами, чтобы твоя жизнь стала лучше, обильнее, прекраснее и спокойнее, чтобы никогда больше не позорить тебя в ресторанах (столовых, точках общественного питания), заказывая самые дешевые блюда, чтобы ты никогда больше не видела моей угнетенной любовью физиономии, чтобы ты и твой достой-

ный избранник обрели до гробовых досок совершенное счастье, я делаю это. Аминь».

3. Вы совершаете самоубийство на почве неостребованного инстинкта рода. Возлюбленной не было вовсе.

Здесь в самый раз взглянуть на мир с философской точки зрения. Про любовь вы писать не подумаете. Ваш конек — неудача, бездарность или неостребованный *гениосексуальный инстинкт* при безапелляционной гениальности.

Пишите: «Как сер и скучен мир! Зачем все это? Мне давно за двадцать, а я еще ничего, никак и т. д. Как хорошо сказал Шопенгауэр, «мой эгоизм высказывается за справедливость и человеколюбие не потому, что ему приятно проявлять их, а потому, что он охотно испытывает их на себе». Аминь».

Если сказать особенно нечего — оставьте так, если есть — дописывайте.

4. Наиболее лаконичное из известных мне завещаний звучало так:

«Ничего не понял.

Спасибо, все было интересно.

А, в общем-то, из-за юбки».

Самоубийств собственно из-за *гениосексуального инстинкта* не бывает. Никогда гений не доходит до точки вполне только своими усилиями. Всегда найдутся добрые люди — помогут, подтолкнут, а человеку, находящемуся на грани, только этого и надо.

Гроб жене

(Иосиф Пенкин)

Отправка жены в гроб — всегда событие более чем знаменательное, независимо от того, любили ли вы ее накануне смерти или нет. Божественный Бодлер выразил это словами:

«Жена в гробу! Ура! Свобода!
 Бывало, вся дрожит душа,
 Когда приходишь без гроша,
 Под вопли этого уroda.

...Теперь как следует напьюсь
 И на дороге расстелюсь,
 Собою и судьбой доволен».

Ексакустодиан, вступая в полемику с Бодлером, не советовал тут же напиваться. Невозможно, — говорил он, — почувствовать полное удовольствие от себя и своей судьбы, не будучи твердо уверенным, что жена в тот момент лежит в гробу. Гроб ей поэтому следует готовить не менее тщательно, чем себе, обращая повышенное внимание на *качество материала*. Из материалов начисто отбрасывается какая бы то ни было древесина. Предпочтение отдается металлам. Конечно, не все могут позволить себе уложить жену в бронированный гроб, тем не менее комбинация материалов должна стремиться приблизиться к этому.

Готовый гроб с женой заваривается, герметизируется и опускается на максимальную глубину. *Глубина и материал* определяют ваше дальнейшее самочувствие, то есть, то, о чем тот же Бодлер говорит:

«Как воздух чист!
Как небо ясно!
Вот так же жизнь была прекрасна,
Когда влюбился я в нее».

Что касается меня, то я похоронил за свою жизнь тридцать две жены. И лишь двух последних мне посчастливилось отправить в хороших гробах, то есть уже после знакомства с Эксакустодианом.

Стоит ли говорить, что обе мои последние жены недолюбливали Эксакустодиана? Как только он появлялся в нашем доме, вторая, когда не успевала вырваться на улицу, одно время просто закрывалась на засов и готова была часами просиживать в душной кладовке; Фекла же (так звали мою предпоследнюю жену), напротив, все старалась накормить Эксакустодиана. На *черный день* у нее всегда стояли ведра соленых грибов в молоке и невообразимая окрошка, куда, казалось, одного черта не накрошили. А всякий *черный день*, как вы догадываетесь, это был день визита Эксакустодиана.

— Кушай, Эксакустодиан, — бывало, говорит она. — Небось, месяц постился?

— Месяц — не месяц, — отвечал Эксакустодиан, берясь за ложку и швыряя ею грибы в молоко. — Месяц, Фекла, не месяц...

— А кушать-то хочется! — подхватывала жена.

— Как вам сказать...

— Да так и говори, — смеялась Фекла. — Небось, не глупая.

— А что-ка, я сам заполню тебе весь рот этими грибочками? — интересовался вдруг Эксакустодиан. — Небось, не покушаешь — обратно вывалятся?

— Да как же ты мне весь рот-то ими заполнишь? — смеялась она.

— Так это просто делается! — отвечал Эксакустодиан. — Руки крепятся сзади, ноги — внизу, веревками, а рот отверткой запросто открывается.

— Да я ж тебя, поганку, сама закреплю и погтем, вместо отвертки, все сделаю, — улыбалась жена.

И делала! Тут же все и делала! Эксакустодиан уходил иногда от Феклы, имея в животе, во рту, в ушах, извините, ноздрях, по 5—6 килограммов грибов и 7—8 литров молока, или по 12—13 литров окрошки, или с десяток килограммов ассорти, где ветчина соседствовала с пачкой соли, водка — с кефиром и банкой благородной икры, помидоры с виноградом, а взбитые сливки посыпались месячной порцией табака.

Феклу Эксакустодиан недолюбливал взаимно. Если другую он кое-как приучил к мысли о гробе, и она в течение последнего месяца жизни оказалась под таким мощным влиянием моего друга, что более ни о чем, кроме гроба, думать не могла, то в отношении Феклы Эксакустодиан проявил полную беспомощность.

Однако, каких усилий ему стоило приучить Ксюшу, последнюю мою супругу! Но для этого потребуется специальный разговор.

...После того, как я отправил Феклу в неплохом гробу под землю на глубину тридцать шесть метров, встретил Ксюшу. Это был сущий ангел семнадцати лет отроду, с белой кожей ребенка, большими ресницами и наивными, ни к чему не приспособленными глазами. Разумеется, я тут же влюбился. Ксюша ответила мне взаимностью, и мы кротко обвенчались.

Эксакустодиан, едва увидев ее, не замедлил одобрить мой выбор и тут же назвал Ксюшу *могильным ландышем* — так она была хороша. Известно, что ландыши растут на топкой местности. Мой друг считал, что на могиле они вы-

растут еще лучше. Он говорил мне, что на могиле Ксюши надо будет обязательно посадить ландыши. Так я через полгода и сделал.

После первого же разговора Эксакустоδιана поразили в Ксюше две вещи: первая — это необычайная живость характера, которая в сочетании с ее нежностью являла необыкновенную красоту, полное единение с природой при полном *непонимании* этого факта; а вторая — полнейшее, абсурдное и, казалось бы, безнадежное отсутствие *мысли о гробе*.

Безнадежное для всех, кроме Эксакустоδιана!

С первых же дней знакомства мой друг повел себя с той степенью артистичности, которую я за ним никогда не подозревал.

Он забрасывал Ксюшу цветами, комплиментами, не переставая хохотал, а ее заставлял хохотать до самых слез, танцевал и увлекал за собой даже глубоких стариков. Оказалось, что Эксакустоδιан поет Орфеем, аккомпанируя себе на рояле, гитаре или вообще ни на чем не аккомпанируя! Бог мой! Что это был за голос! Этот голос, услышанный мной всего-то пару раз, был способен не только увести за собой всех незамужних девиц, но и будить укоренелых баб, двигать горы, подбрасывать над землей людей, фонари, дома, города! Доставать покойников из гробов и уносить их за собой на Олимп сладострастного восторга.

Ксюша была от него без ума. Она боготворила Эксакустоδιана, думая о нем днем и ночью. И тут я почувствовал, что не получаю с Ксюшей прежнего, так мне хорошо знакомого просветления. Это меня насторожило.

И вот, они оба стояли передо мной, требуя оставить законную жену. Очевидно, ими подразумевалось, что я должен тот час же сорваться и броситься на поиски новой. Такой подлости от лучшего друга я ожидать никак не мог.

Требовалось время, чтобы все хорошенько взвесить и обдумать...

Дело касалось *принципа*. В принципе, я предложил счастье вгрозем. Им это не понравилось. Тогда я разозлился и наотрез отказался впускать в свою постель кого бы то ни было, кроме Ксюши, пригрозив охотничьим ружьем. Я поставил точку.

С этого момента Ксюшу словно подменили. Она стала избегать Эксакустоδιана, все свое время отдавая только

мне. Она возненавидела Ексакустодиана, постоянно пряталась, как он приходил, и хотя ночью я еще не чувствовал наступивших перемен, было ясно, что восстановление просветлений — дело времени.

Однажды у нас состоялся такой разговор:

— Какой у меня будет гроб, Иосиф?

— Большой и красивый, Ксюша.

— Почему я до сих пор его не видела?

— Ты этого так хочешь? — спросил я.

— Да, — отвечала она.

— Тогда пошли.

Я привел ее к гробу. Это был строгий цинковый ящик, построенный согласно правильным габаритам, длиною в девять метров и с возможностью достройки.

Ксюша ничего не сказала и сразу вышла из мастерской.

С этого момента задумчивая печаль преобладала у Ксюши.

— Почему ты не хочешь видеть Ексакустодиана? — время от времени спрашивал я. — Ведь он часто бывает у нас и интересуется тобой.

— Я ненавижу его!

— Вот как? Ах, женщины, женщины! — качал я головой. — То любят, оторвав себе голову, то так же ненавидят...

— Я ненавижу! — повторяла Ксюша.

Потом их отношения пошли на поправку — в последний месяц Ксюшиной жизни; Ексакустодиан уже рассказывал нам обоим о гробах, проводил с женой индивидуальные занятия. После моей *точки* в вопросе о смене жены друг здорово изменился: много писал, мыслил, читал лекции. Я говорил ему:

— Ты талантлив. Тебе нельзя долго связываться с женщинами. Они погубят тебя, заруют крылья в землю. Пускай в семьях чахнут пауки, ты же никогда не взлетишь, если...

— Я, разве, с кем-нибудь связываюсь? — удивлялся он.

И Ексакустодиан действительно *ничего не помнил*. Да я и не напоминал.

А Ксюша, спутав цианистый калий с кефиром, выпила целый стакан и умерла.

Я посадил на ее могиле ландыши. Напомнил Ексакустодиану.

— Ландыши? — спросил он. — Какие ландыши?

Времена и сроки

(Ексакустодиан Измайлов)

Когда Петрарка безумно влюбился в свою Лауру, она была белокурой нимфеткой двенадцати лет, бежавшей на ветру, сквозь пыль и цветень, сама как летящий цветок среди прекрасной равнины...

(В. Набоков. «Лолита».)

Природа открывает свои *нервы* лишь в немногих, выбранных ею созданиях и лишь в определенные временные отрезки. Сегодня человек прекрасен, а завтра он превращается в полное ничтожество. Если бы мы не знали, что это рано или поздно должно произойти, то никогда бы не поверили, что среди болота, где квакают лягушки, и вообще пахнет, растут лилии. Временные отрезки сам человек может и не заметить, а если заметит, наверняка решит, что так будет всегда, что прекрасное в нем не уйдет. Но здесь, как говорится, Бог дал — Бог взял.

Рассмотрим первую область жизненной интенсивности: девять — тринадцать лет. Ни в коем случае не думайте, что избраннику природы суждено целых четыре года быть прекрасным. Напротив, он может цвести месяц, чтобы потом слиться с общей массой однолеток. Только для каждого свое время: одним — в девять лет, другим — в двенадцать и т. д. И еще: то, что взрывается в избраннике и делает его вдруг образом, символом идеального человека, так или иначе присутствует у всех, но в гораздо более скромном виде.

Надо ли напоминать: кому много дается, с того много и спросится. Красота настоящая требует заплатить за себя страшной ценой. За нее платит носитель, близкие, дальние — все, кто хоть как-то прикоснулся к вечной красоте, двигаются по направлению к пропасти до тех пор, пока вечное в один прекрасный момент не превратится чудесным образом в *пошлое*, в *ровное*.

Если вам сейчас около тридцати и никогда не доводилось переживать в себе *нервы природы*, груда прошлых лет для вас — мезиво, из которого трудно выбрать что-либо значимое. Но если вам те же тридцать и кое-что есть вспомнить, то, наверняка, в памяти всплывут два момента — около 12-ти и около 24 лет — как сроки особого *кошмара*. Сам человек переживает прямо обратное тому, что видит глаз наблюдателя. Мало кто в состоянии сообразить, на каком вулкане вырастает красота.

Что такое двенадцать лет? Это начало хамства, недоверия к миру, начало *агонии тела*, которую человеку суждено переживать всю жизнь и которая, появляясь впервые, производит первую, самую страшную боль. Чем прекраснее суждено быть ребенку, тем болезненнее он упадет после этого. Прекрасное — закат одной эры человека; агония — начало следующей.

Если бы ребенок мог в таком возрасте всерьез думать о самоубийстве, то половина избранников природы наложила бы на себя руки в 12—14 лет. Тогда-то и появляются всевозможные вредные привычки, заглушающие вопль плоти, дитя уходит из внешней жизни, которая только что была прекрасна, в жизнь внутреннюю, которая никогда не бывает прекрасна, а в отрочестве просто безобразна.

Я написал Вертера, чтобы не стать им.

(Гёте.)

Двенадцатилетние девочка или мальчик не умеют не только выразить свою красоту, но и даже заметить ее, как она, взорвавшись, ослепляет тех, кому положено видеть, и создает подсознательный неуют тем, кому этого вроде бы делать не положено, чтобы потом погаснуть и бросить своего избранника с небывалых высот в ледяные глубины Аида. Следующий фатальный возраст — первая половина третьего десятилетия — интересен тем, что уже позволяет обладателю природного дара так или иначе выразиться. Это может произойти тремя путями:

1. С помощью *самоубийства*.

2. С помощью *акции*, избавляющей от ауры самоубийства.

3. С помощью *следующего поколения* (для гениев рода).

Начнем с последнего. Для гения рода ребенок — не эротическая игрушка, свидетельствующая о совершенстве гения и его избранницы (как это случается во всех нормальных семьях). У гения в определенный момент *тяжесть ответственности* достигает такой вершины, когда остаются лишь два способа отделаться от нее: способ № 1 и способ № 3. Этот момент нельзя прочувствовать извне, только изнутри, поэтому мы не станем на нем останавливаться. Скажем только, что с фактом рождения, вернее, *актом*, или даже с *актом зачатия*, гений перестает быть гением к своему удовольствию и во благо отечеству. То же самое можно сказать и о человеке на веревке.

Несомненно, наиболее интересный путь — это путь *неродовой акции*. В условиях надвигающегося матриархата, сводящего к минимуму шансы гениев рода, *неродовую акцию* можно считать не столь опасной, ибо все в ней зависит от главного действующего лица.

Если типологически расчленить акции, увидим:

1. Искусство материальной власти (деньги).
2. Искусство духовной власти:
 - а) поступком (Наполеон),
 - б) словом (Цицерон, Карузо),
 - в) духом (Бах, Толстой, Гете и т. д.).
3. Искусство физической власти (спортсмены).

Я перечислил только самые распространенные, устоявшиеся искусства. Все мы, конечно, понимаем, что искусств гораздо больше. Например, абсолютно новое, только зарождающееся *искусство гроба*.

В скобках были приведены несколько имен, носителям которых удалось избежать самоубийства с помощью *акции*. Какие же условия для этого необходимы?

1. Семя должно найти свое лоно и дать всходы.
2. Лона должно быть здоровым.
3. Семя должно быть в меру здоровым (приемлемым).

Гении с мощным, но сильно отравленным семенем (приблизившиеся к *точке самоубийства* как Икар к солнцу) обречены: люди не дадут ему прорасти, а если дадут, то уже после самоубийства гения. О безусловном здоровье вблизи высот, где создается трагедия, говорить нелепо. Вопрос в том, насколько близко от роковой отметки происходило зачатие: когда *слишком* — трагедия. А в 24 года редко хватает ума и таланта, чтобы оформить трагедию в достойную ее плоть. Воспринимать и принимать кричащие голые нервы не входит в обязанности публики, чего бы не обещал домогающийся *ее* человек в дальнейшем. *Ей* гораздо приятнее взрастить драму, где содержание гармонирует с формой, чем самую великую трагедию, не подобравшую себе единственный язык. С этой точки зрения зарождающийся пока язык искусства гроба скоро, очень скоро предоставит небывалые возможности для трагедии. С другой стороны, если человек, претендуя на трагедию, недостаточно близок к *точке самоубийства*, жалеет себя, семя его неполноценно и также отвергается лонам, не давая всхода. Закон всякой *акции* звучит следующим образом:

«Чтобы попасть, надо попасть *вовремя*».

О, глядя на многих из этих, разумеется, трудно поверить, чтоб они покончили с собой из-за «тоски по высоким целям жизни». Да они ни об каких целях совсем и не думали, они ни об чем таком и не говорили, а только делали «пакости».

(Федор Достоевский. «Дневник писателя».)

Орфею было около 23—24 лет, когда решили, что без него будет лучше. Нас не должно смущать, что он умер от рук неудовлетворенных женщин. Если бы поэт не хотел умереть, его бы не погубил сам Сатана, поскольку поэт — самое независимое на земле существо. Будь Орфей хотя бы наполовину убежден, что его дело *нужно*, что оно дает всход, то никакая горькая память о первой bestолковой женщине, полюбившей за что-то поэта (уже прошло четыре года со смерти Эвридики), не заставила бы его натравить на себя стадо пьяных женщин. Один из печальнейших фактов истории имеет зауряднейшую природу: Орфей не был нужен. Предложенная им трагедия показалась людям мрачным, дьявольским проявлением человека. Свет, которым взрывается настоящая трагедия, ставил вне закона ровный полусвет будней, а глубокий мрак, подготавливающий свет, представлялся кошмаром в тихой, привычной ночи. Небеса сломали Орфея, чтобы он запел, люди доконали его, чтобы он заткнулся. В самом деле, какое принимать решение избраннику: угождать небесам или земле? Действительно, очень трудный вопрос. Смерть первого поэта — формальность, которая могла бы случиться и раньше, и позже, — в зависимости от желанья и возможности человеческого тела и духа терпеть. Четыре года Орфея — все равно, что сорок лет для нашего поэта. Ведь у него не было возможности проконсультироваться с людьми, которые давно в гробах, и черпать у них уверенность, что *все это зачем-то надо*. Как протянуть четыре года, когда от тебя в ужасе шарахаются молодые девочки, бросают камни повсюду, куда бы ты ни зашел, на тебя брюзжат старики, и ты сам наконец соглашаешься с мнением о себе как об аномаллии, твари в последней степени извращения?

Еще три поэта, которые, заглянув в ад в свои 23—25, раздумывали, поселиться ли там окончательно или все-таки повременить. Правда, первому долго думать не пришлось. Нежнейшего Китса братья по перу совместно с братьями по местопребыванию затолкали в узкий, короткий гроб не-

сколькими толчками, сразу же после написания им очень достойной поэмы, куда было вложено *всё* семя молодого гения. Вполне, кстати, здоровое, с чем потом согласятся толкавшие, покачивая от досады головой. Он так дорожил суждениями Байрона, которому еще предстояло пережить *то же самое* через двенадцать лет, и других *гениев*, что, не будучи принят в их негласное собрание, просто заболел и умер.

А вот его родственник Отто Вейнингер, напротив, имел одно из самых, пожалуй, отравленных семян. Положив его в гениальную поэму, написанную прозой, где сводятся счеты с миром и женщиной, он понял, что после подобной поэмы долго жить *нельзя*. Это было одно из максимальных приближений к *точке самоубийства*, откуда нет выхода.

Наш Лермонтов после «Героя нашего времени» все силится понять, зачем жить, если и так все ясно.

И таких было немало. А еще тысячи так ничего и не сказали.

Земную жизнь пройдя до половины,
Я оказался в сумрачном лесу...

(Данте. «Божественная комедия».)

Последняя (из трех) встряска ожидает человека в районе 35—40 лет. Уже стариком Бернард Шоу высказался по поводу данного рубежа: если художник переживает за сорок лет, он живет долго. Здесь, видимо, самая могучая пропасть, подстерегающая нас в течение жизни, но и сама личность должна к этому времени достаточно окрепнуть, чтобы через пропасть перешагнуть. Понятно, что в двенадцать лет или в двадцать четыре года выдержать «сумрачный лес» на несколько порядков сложнее, поэтому природа предусмотрела такую зависимость, как зависимость *возложенного* ею на чей-либо сердечно-мозговой центр от *возможностей* данного центра. Причем следует повториться, что «сумрачный лес» знаком далеко не всем так, как с ним познакомился Дант. Природа может начисто игнорировать вас в 12 и 24, а положить свой перст в 37, равно как и во всех других вариантах с этими цифрами. Она же предусмотрела, чтобы после сорока лет не выводить организм, идущий на износ, на высокие скорости существования.

Также вовсе необязательно, чтобы в жизни избранника данные отрезки были зафиксированы самоубийством или *фактически*. Вполне достаточно *внутренней* акции или *акции внешней*, но нелогичной (пускай даже не грандиозной).

«Я очень и очень болен...», — писал Маяковский за несколько дней до того, как пустить пулю в лоб. Пушкин с гудящей головой, влекомый начинающимся кошмаром, отправился на нелепую дуэль. Байрон воевал в эти дни. Шпаликов, вероятно, пил, Вампилов неизвестно чем занимался, Блок перестал писать, Хлебников не переставал; не переставал и Фасбиндер, который отвлекся только для того, чтобы запустить в вену над недописанным сценарием последнюю порцию кокаина; Рембó давно уже ничем интересным не занимался и, скорее всего, ему просто-напросто стало скучно; Ван Гог никак не могло быть скучно; Рафаэлю, мне думается, тоже; Сирано де Бержерак, не исключено, переполнил свой комплексный кубок каплей последнего комплекса; Моцарт извивался в пламени «Реквиема»; Шопен, давая последний концерт, видит *проклятых духов*, покидает зал, но затем возвращается и играет «Траурный марш», после которого он *только умирал*; и т. д...

Шекспир выстоял, взорвавшись в это время трагедией всех трагедий; после нее понадобилась четырехлетняя пауза для нового, последнего вздоха. Толстой, наконец, женился. Тогда же взялись за перья Стендаль, Пруст, Бернард Шоу. Тогда же прорвало Паскаля, и он на границе жизни и смерти высекает свой знаменитый амулет, с которым не расставался до конца дней. Этот амулет дает духу больше, чем все гениальные опыты Паскаля в физике.

Как избежать самоубийства?

(*Ексакустодиан Измайлов*)

Семь старцев за 60 лет, у которых не поднимается голова, не поднимаются руки, вообще ничего «не поднимается», и едва шевелятся челюсти, когда они жуют, — видите ли, не «посягают на женщину» и предаются безбрачию.

Такое удовольствие для отечества и радость небесам!

Все удивляются на старцев:

«Они в самом деле не посягают, ни явно, ни тайно».

Живые боги на земле...

(*В. Розанов. «Опасные листья».*)

Пост, труд и молитва — вот основные составляющие для тех, кто еще не впал в опасную зону, т. е. чье желание остаться в живых сильнее желания сейчас же лечь в гроб. Начинать надо прямо с того момента, как вы решили остаться

ся в живых. Ни секунды не затягивайте! Благоприятный момент может оказаться последним!..

Жизнедеятельность организма находится в прямой зависимости от количества потребляемых калорий, белков, углеводов и других составляющих. Остановить смертоносный процесс, если вам не удалась ни одна из предложенных *акций*, можно лишь безоговорочным и решительным отказом от потребления пищи. Заморозить жизнь плоти и уйти в сферы невесомого Духа, добиться того состояния, когда Дух сможет управлять плотью и не успокаиваться на достигнутом!

Ни в коем случае не прибегайте к самоудовлетворению! Получив на первых порах желаемое облегчение, вы с каждым новым шагом в этом направлении все глубже и глубже опускаетесь в ауру одиночества, из которой возможно перебраться только в гроб, чего мы условились всячески избегать.

Поэтому единственный выход — стать как бы невесомым ангелом, чтобы расправить крылья и полететь высоко-высоко!

...Бросайте есть, как если бы вы бросили курить. Раз и навсегда. Заставьте себя не думать о еде, девушке, о всевозможных увеселениях. *Думайте о вечном.*

Запомните: если вы поддадитесь минутной слабости, скушаете хоть корку хлеба — все начнется заново, но благоприятного момента уже будет не вернуть! У вас останется два выхода: либо покончить с собой, либо вступить в отношения купли-продажи с женщиной, а потом, через нее, со всем остальным миром. И тогда вы *заложите всех и вся*. Вы будете существовать, но не будете жить. Придется снова выбирать.

Я совсем не хочу вам предлагать долгое ангелоподобное существование! Ни в коем случае! Пост — лишь временное лекарство, действие которого уже через 6—12 месяцев грозит обернуться в невыгодном направлении. Еще Паскаль предостерегал: «Человек не ангел и не животное, и несчастье его в том, что, чем больше он стремится уподобиться ангелу, тем больше превращается в животное». Я хочу сказать, что если можно быть животным год, то потом это входит в привычку, и вы рискуете *так и остаться*. Зачем вам это надо? Поэтому *не злоупотребляйте никогда постом*.

Когда вы станете идеальными *свободными плотниками*, то дело строительства гроба уведет вас от многих, казалось бы, неразрешимых проблем.

Как подготовить и совершить самоубийство?

(*Ексакустодиан Измайлов*)

И ты держала сферу на ладони
Хрустальную, и ты спала на троне,
И — боже правый! — ты была моя...
Нас повело неведомо куда,
Пред нами раскрывались как миражи
Построенные чудом города,
Сама ложилась мяга нам под ноги,
И птицам с нами было по дороге,
И рыбы поднимались по реке,
И небо развернулось пред глазами...
Когда судьба по следу шла за нами
Как сумасшедший с бритвою в руке.

(*А. Тарковский. «Первые свиданья».*)

В некоторые моменты (к счастью, довольно редкие) что-либо менять — не в силах человека. Так, например, если вы попали в *зону самоубийства*, прежде всего надо подумать, как его совершить.

Самоубийство должно быть эстетически зрелищным или, на худой конец, эстетически оправданным.

Раздобыв пистолет, постарайтесь не целиться в висок, в рот и другие части лица. Это надежно, но эстетически безграмотно. Стреляйте в сердце, убедившись, что дуло пистолета помещено между соответствующими ребрами. Тогда вы сохраните то выражение лица, о котором будет сказано ниже. Не стреляйте в живот, погу или руку — болезненно и неэффективно.

Решив отравиться, выбирайте удобный именно вам яд. Невкусный яд или яд, прожигаящий внутренности дотла, — средство для панических самоубийц и искупителей. Если вы ни то и ни се, старайтесь избегать подобного яда. Паникерам он позволяет сразу же уйти от умозрительных проблем, а искупителям — как следует выстрадать *акцию*, не прилагая со своей стороны никаких усилий.

Откровенно жаль, что сегодня не выпускают *цикуту*. По преданию, этот сократовский напиток легко пился и так же легко переваривался. Смерть наступала в идеальные сроки: человек успевал кое о чем *подумать*, но не до той степени, чтобы *передумать*. Я плохо разбираюсь в ядах. Вернее, вообще не разбираюсь... по двум причинам. Во-первых, не хочу накладывать на себя руки, а во-вторых, мне почему-то именно этот вид самоубийства представляется, наряду с от-

равлением газом, где-то подленьким и, при удачном выборе яда, упрощенным. Тем не менее, безболезненный яд благоприятствует составлению совершенно определенного выражения лица вашему трупю. При безболезненном течении дел вам дается какое-то время и интеллектуальный простор для формирования своего последнего образа. Честно говоря, он будет таким, какова была жизнь (обезображенный вариант мы откидываем). Подлец не составит себе скорбной улыбки гения (да и, наверное, руки на себя не наложит). Следовательно, надо создать благоприятные *временные условия* для выявления *личности*. Перед смертью не играют. Наигрались раньше.

Людам с холерическим темпераментом я бы порекомендовал быстродействующий яд, с флегматичным — медленный, гурманам — с привкусом шашлыка и жареного баклажана; тем, кто любил до синевы побриться, носить крахмальные рубашки и обливаться одеколоном — с привкусом мяты и т. д...

Эстетике самоубийства противны намыленные веревки и в два — три раза вытянутые шеи, отрубленные колесами электропоезда головы, покотившиеся по насыпи в сторону изумленных пешеходов, всякого рода трупы на асфальте возле высотных домов, разбухшие тела утопленников, бритвенники, плескающиеся в ваннах собственной крови, и т. д...

Наиболее зрелищные самоубийства практиковали римляне, использовавшие короткий *меч*, чтобы ложиться с ним на землю или обниматься с другом так, чтобы *он* выходил со спины. Японцы до сих пор совершают акцию-ритуал *харакори*. К сожалению, в России, где людям с железными нервами и толстыми задницами не приходит в голову заниматься подобными вещами, а самоубийцы преимущественно люди тонкие, зрелищные самоубийства исключаются. Не надо вставлять между ребер столовый тесак или кромсать живот перочинным ножом. Даже если цель будет достигнута, это приведет к такой физиономии, таким глазищам, что на том свете только слабо охнут, на этом же — рассмеются. А не приходилось ли вам смотреть на штаны повесившегося самца?

Как избежать самоубийства?

(дополнение — Иосиф Пенкин)

Молитва перед обедом и ужином:

«Очи всех на Тя, Господи, уповают, и Ты даешь им пищу во благовремени, отверзаеши Ты щедрую руку Твою и исполниши всякое животное благоволения».

Молитва после обеда и ужина:

«Благодарим Тя, Христе, Боже наш, яко насытил еси нас земных Твоих благ; не лиши нас небеснаго Твоего Царствия. Но яко посреди учеников Твоих пришел еси, Спасе, мир дая им, прииди к нам и спаси нас».

Мне хотелось бы поговорить о предложенном Ексакусто-дианом триединстве поста, труда и молитвы. *Молитву* мой друг считал тем, о чем не говорят. *Труд*, проделанный им при изготовлении гроба, неоспорим. Однако *пост*, по его теории гарантирующий *жизнь*, я рискую оспорить при всем почтении к Учителю.

Ничто так не стимулирует кровообращение, как здоровая еда, острая закуска и бутылка хорошей водки. Волшебные превращения в нашем организме, которые происходят при участии этих продуктов, — поистине грандиозная *фуга*, всегда новая, свежая, с непредсказуемыми ходами и узорами. Это вернейшее средство против любого самоубийства.

Коль скоро речь заходит о музыке, надо сказать о волшебном действии, какое производит она на пищеварительные процессы великих композиторов и их благодарных слушателей. У Баха есть изумительное произведение, которое так и называется: «Искусство фуги», — апофеоз бессмертия, памятник пищеварению и богоугодному художнику — животу нашему. Бах соорудил его за несколько дней до смерти, зашифровав в последней, грандиозной фуге (всего их там 14) имя, что носил этот исполинский организм: В-А-С-Н! Не случайно, мне думается, целая громада «Искусства фуги» держится на одной единственной теме, вернее, выходит из нее, обрастая мириадами тем на своем пути, и венчается приходом всех просветленных мыслей к своему источнику — к мысли о животе человеческом.

...Существует несомненная связь между аппетитом, количеством пищи и качеством музыки. Вот что пишет Россини: «Я не знаю более замечательного занятия, чем еда, пони-

масте ли, еда, еда, — в самом полном смысле этого слова. Что любовь для сердца, то аппетит для желудка. Желудок — капельмейстер, который руководит большим оркестром наших страстей и приводит их в действие. Пустой желудок подобен фаготу или флейте... Напротив, полный желудок — это треугольник удовольствия и литавры радости».

Гендель заказывал в ресторане столик на компанию из трех человек, и однажды кто-то несведущий поинтересовался: «А где же компания?» — «Я сам себе хорошая компания», — хохотал Гендель.

Хорошо известны пристрастия Моцарта к шампанскому, Мусоргского к водке, Вагнера к плову, Бетховена к пельменям, а Паганини, Брамса и Пуччини — к отбивным.

Подробнее о музыке, о ее взаимодействии с искусством гроба — в последней лекции Эксакустодиана, которая была мной записана на магнитофон, а впоследствии расшифрована.

О музыке

(*Эксакустодиан Измайлов*)

Опять распущенный Шопен
Едва ли сдержит обещанье
И кончит бешенством взамен
Баллады самообладанья.

(*Б. Пастернак.*)

Многие товарищи, переживающие переходный возраст, не прочь бы услышать на своих похоронах хорошую музыку. Какую мелодию выбрать? Насколько вы в состоянии обещать присутствие возле гроба оркестра, хора, а, может быть, просто тенора, аккомпанирующего себе на баяне, или виолончелиста, как это случилось у могилы Тарковского во Франции, с участием Мстислава Ростроповича? Продумайте этот вопрос. Я всегда рекомендую *заложить* часть ценностей, предназначенных в гроб, чтобы заказать музыкантов (если вы, конечно, не Андрей Тарковский, чтобы к вам с другого света бросился Мстислав Ростропович).

Почему на похоронах необходимы музыкальные шедевры? Почему там не читают главы из романов, стихотворения, не приносят картины, статуи, не показывают кинофильмы? Что за идиотский вопрос, господа? Кто мне его задал? Почему вы все молчите? Это вы? Момет быть, вы? А!!! Это вы?! Вы разбудили мое подозрение сразу, как переступили

порог «Вольного Общества»! Убирайтесь! Убирайтесь, я вам говорю! Быстрее! Еще быстрее! Бегом!!!

Музыка в нашей жизни выполняет несколько функций. Ни одно другое искусство не несет в себе столько разнообразия.

1. Она помогает глубже узнать свой внутренний мир, служит *проявителем* (а острая музыка — и *катализатором*) процессов пищеварения, кровообращения, душевных переживаний, сердечного трепета и т. д. Этим аспектом ее воздействия плотно занимается один из моих учеников (по фамилии Пенкин).

2. Музыка помогает выплеснуть наружу скопившуюся *энергию*, если та еще не до такой степени скопилась, чтобы превратиться в *желчь*. Здесь уже никакая мелодия не поможет.

3. Музыка объединяет людей (мажорная) и разъединяет, уводит вовнутрь (минорная).

4. Наконец, она первая достигает *границ*, куда впервые попал Орфей: грани между жизнью и смертью. Вспомним, что мера трагедии зависит от дистанции между *состоянием духа* и *точкой самоубийства*. Составляющие таланта сочинителя: сумеречный ли, умиротворенный, беспокойный, красивый и т. д. — не так важны. На каждый талант, в конце концов, есть свой слушатель. Важно, сколько крови вложено в шедевр; мера его трагедии. В любом ремесле они определяют духовное качество продукта, как качество материальное определяется мерой прямо противоположной.

Только в музыке трагедия говорит *универсальным языком*. Орфей, приспособивший голос для нового языка, положил начало искусству всех искусств. Мы не представляем, какой была бы жизнь без музыки. А она была бы! Еще как бы!

Как нам известно, трагедия заключается как раз в том, что она *не понятна*. Как только в ней что-нибудь начинает проявляться, это уже либо *смерть*, либо *плесень*. Любое другое искусство страдает от ущербности средств бытового языка, которым говорят о кастрюлях, картошке и бане, им чрезвычайно сложно изъясняться в условиях перекрестка жизни и вечности. *Гениосексуалисты*, однако, как-то изыскивают средства для описания своего паломничества на перекресток, когда сверху подпирает планка самоубийства. Но это не то, неправильно, *одноразово*. Сколько раз вы перечитаете «Короля Лира»? А любимое стихотворение? Так или

иначе, какой-нибудь шлягер вы прослушаете за неделю больше раз, чем откроете за всю свою жизнь и «Короля Лира», и любимое стихотворение, а к музыкальной трагедии возвратитесь через месяц, потом снова через месяц, и т. д...

Человечество выплеснуло всю известную музыку на двух-вековом отрезке, когда только-только миновало Возрождение Слова, и словом писали страшную мертвечину. Надо ли еще начинать петь? Будет надо — запоют. А пока вполне достаточно спетого для поэмы Человеческой Трагедии и ежедневного фольклора, для поддержания общего тонуса.

Я обязан дать вам кое-какое представление о музыкальных шедеврах и их авторах, чтобы вы не улеглись в гроб под «Турецкий марш» Амадея... Запишите проверенный список тех, с некоторыми произведениями которых можно смело ложиться в гроб. Выбранные вами произведения мы еще обсудим отдельно с каждым...

- 1) Бах;
- 2) Бетховен;
- 3) Шопен;
- 4) Верди;
- 5) Вивальди;
- 6) Вагнер;
- 7) Моцарт;
- 8) Чайковский;
- 9) Пуччини;
- 10) Паганини;
- 11) Крейцер;
- 12) Рахманинов;
- 13) Гендель;
- 14) Гайдн;
- 15) Чесноков;
- 16) Брамс;
- 17) Шуберт;
- 18) Глюк;
- 19) Григ;
- 20) Глинка;
- 21) Шуман;
- 22) Берлиоз;
- 23) Мусоргский;
- 24) Бизе;
- 25) Россини;
- 26) Каччини;
- 27) Альбиниони.

Что такое искусство гроба?

(Ексакустодиан Измайлов)

Идиот — Настасье Филипповне:

«Только вы одна здесь можете со всем порвать...»

(Ф. Достоевский. «Идиот».)

Любая трагедия, выраженная словом, завершается смертью. Греки и люди шекспировского поколения, приходя в театр, уже знали, чего ждать в конце. Плохая пьеса или хорошая — для развязки не имело значения. Только наше время умудрилось положить конец фатальным развязкам, полагая, что зрителям так будет спокойнее, в героях они узнают себя и начнут ими любоваться. Так оно и получилось. Матриархат, это царство паутины и усредненности, накладывает руку и на искусство. Появилась драма. Драма — это то, где умирают, но не предсказуемо. В драме умереть может старуха, которую никто не замечал, дальний родственник, наконец, сам герой. Но здесь зрителя озадачивают *недоразумением*, а не *роком*. Вспомните: хороший *свободный плотник* чем дальше, тем больше чувствует себя на сцене, на огромной, мировой сцене. От него уже зависит, станет ли он участником гениальной трагедии или заурядной матриархальной драмы. В драме вы можете и не помереть *в данных обстоятельствах*, в трагедии помереть придется задуманным изначально образом (о чем вы сами, разумеется, не знаете). Участвуя в *драме жизни*, личность отдается во власть мелких, обыденных факторов. Жизненный ваш контекст управляется миллиардом нитей извне. От личности, правда, кое-что зависит, согласно вложенному потенциалу. Участвуя в *трагедии жизни*, вы, во-первых, главное действующее лицо (в драме нет *героя*, там всегда несколько главных *героев*), а во-вторых, от вас уже ничего не зависит — вы находитесь во власти *первичного инстинкта*, которому наплевать на миллиардную сеть нитей и который готов в любую минуту смести их и поставить точку.

Нашему театралу еще надо растолковать: почему в конце пьес герои мрут как мухи? Нужно ли столько крови? Не слишком ли? В жизни-то столько не бывает!

В любой другой аудитории я бы сказал так: если вам достаточно испражняться раз в месяц, совсем не значит, что это соотношение уникально. Но своим ученикам, которые

уже кое в чем разбираются и знают, что только так и бывает, только на грани жизни и смерти совершается Акт Духа, акт рождения нового, я объясню кое-что дальше...

Несомненно, существует какая-то связь между любовью, музыкой и поэзией.

(Роберт Бернс.)

Бернс был поэтом, а мы с вами свободные плотники, поэтому с полным правом формулируем:

Несомненно, существует какая-то связь между любовью, музыкой и изготовлением гроба.

(Ексакустодиан Измайлов.)

Запишите это посередине.

Изготовление гроба мы худо-бедно осветили, о любви поговорили, так что осталось привести сказанное в систему, во взаимодействие с музыкой и разойтись к своим гробам.

Не подлежит сомнению, что *гробовая поэзия* только начинается. Это молодое и, как было сказано, синтетическое искусство. Оно скоро займет пьедестал, на котором одно время находилась поэзия, затем музыка, и, вытеснив первую, встанет вровень с последней, чтобы составить ей конкуренцию в иерархии: *любовь — гроб — музыка*, и, как знать, не поспорит ли оно когда-нибудь за первенство с самой *родовой любовью*? Для этого надо, чтобы будущие гении достигали между гробовыми досками куда более высокой степени концентрации, чем над листом белой бумаги.

Гробовое искусство уже потому выше искусства стихосложения и других *бумажных* искусств, что, во-первых, совмещает *реальное* дело с *духовным*, т. е. *плотнику* надо нечто производить *реально*, а не только на бумаге, во-вторых, *гробовое искусство* говорит *на своем языке*, который по счету уже третий язык человечества:

1. Бытовой язык (слова, пластика, цвета и т. д.).
2. Музыкальный язык.
3. Язык гроба.

Вот почему нам надо тщательно изучать *музыку*. Она пока единственный аналог нашего искусства.

Среди поэтов, писавших трагедию средствами бытового языка (будь то краски, мрамор или слово), есть *гениосексуалы* с неменьшим зарядом, чем среди поэтов, писавших нотами. Но близость к быту отпугивает людей. Им не хочется по несколько раз видеть одного и того же Гамлета или

врубелевского «Демона». Гениальные актеры не рождаются каждый месяц, чтобы по-новому сделать Гамлета. В последнее время они вообще как бы не рождаются. Как же быть?

Музыкальный язык есть дифференциал жизненной трагедии и позволяет достраивать на основе ее скелета саму трагедию, но каждый раз *новию*.

К тому же стремится *гробовой язык*.

Образно я объясняю это так: вы не станете два раза слушать один и тот же анекдот или одну и ту же печальную историю, но всегда бы не прочь вновь приподняться, чтобы похохотать или пережить *невесомость точки самоубийства* (хороший смех очищает лучше плохого катарсиса). Поэтому вы всегда готовы пережить анекдот вновь, но, конечно, не в том виде, какой был, то есть, пережить сами *нервы* в новой оболочке.

Музыка и гробовое искусство предоставляют такую возможность. Их язык — *язык* жизненных *нервов*.

Но если существует *музыкальная драма* (т. е. не трагедия и не комедия, а та же самая *жизнь в нитях*, но выраженная музыкально), то гробовой драмы не бывает. Здесь — либо гомерический хохот, либо фатальный полет. И еще разница: в музыке вы всегда пассивны, вторичны, следуете за композитором, здесь же вы испьете полную чашу (да и вообще, хоть глоток сумеете хлебнуть), только активно, т. е. при строительстве вашего *гроба своими руками...*

Конец

(Иосиф Пенкин)

И даже когда мы что-нибудь делаем или думаем, хотим или намерены якобы вне пола, «духовно», даже что-нибудь замыслим *противополое* — это есть *половое* же, но только так закутанное и преображенное, что не узнаешь лица его.

(В. Розанов.)

Как я уже писал, Ексакустодиан Измайлов пал возле своего детища. Стенки желудка его настолько слиплись, что *некрохирург* Сергей Кольцов вынужден был отделять одну от другой с помощью скальпеля, вырезая мясо кусками, чтобы найти там хоть подобие или запах органических продуктов. Однако ничего похожего на искомое ему отыскать не удалось. Не было там и никакого *Святого Духа*.

Положил Эксакустодиана в гроб я собственноручно, напевая в то пасмурное утро мотивчик «Аве Мария» Каччини, так любимый Эксакустодианом; и в тот же день принялся рыть лопатой семидесятиметровую яму. Занятие не из приятных, которое обещало растянуться на несколько лет, если бы не одно необычайное происшествие...

Оставив гроб с трупом моего учителя глубоким вечером, я отправился домой, чтобы отдохнуть, а наутро со свежими силами продолжить начатое. Но следующим утром мне не удалось отыскать ни Эксакустодиана, ни гроба.

Случилось то, что часто случается: Эксакустодиана прибрали небеса. До сих пор не могу понять: хорошо это или плохо...

Аминь.

Олег ЗИНЬКОВСКИЙ

СКАЙЕ

(из цикла «Четыре Темперамента»)

Искусством садовника Скайе, его подлинным тескне, стало побуждать вещи. Это был акт, от которого пришлось отказаться гелфинам, ибо они сочли предметный мир вереницей связанных полями фигурок, лишенных творительной воли и даже отражения.

В тесном кругу Алиса называла садовника детищем несовместных рас, соломоновым решением. Скайе был для нее жертвой забытой ныне экзекуции, когда деликвента привязывают за набухшие кровью, чудовищные голени к двум кобылицам и пускают их на полном скаку по разные стороны древесного ствола.

В его нервной деятельности, утверждала Алиса, верхи не могут, а низы не хотят жить по-новому. Мы же после пары попыток с телевидением и психоделическими опытами вовсе опустили руки. Необходимо понять Скайе культурой, день и ночь пичкать лучшими образчиками добра, пока убогий труд и замкнутость не превратили его в тварь, живущую по закону рефлекса. Так считала Алиса.

Это было изыскано, но не найдено.

Кто-то там, кажется, Балан, говорил о ней: голодный ловец сильными толчками ныряет за раковинами метафор в пурпурные воды своей Innerlichkeit. Однако все доставаемые раковины — пусты, их облупившиеся чашечки — бесплодны.

Действительность Скайе была иного толка.

Люди не могли принять садовника в свою среду. Его ленивый ум неуклонно попадал в их гибкие сети: не понимая нечто, он терял достоинство; не справляясь с просьбой — точно то же; будучи изощренно проведен кознями — того более. Лучше жевать кору вербены, давая обет стагнировать духом, чем терять достоинство.

На что еще он мог дерзнуть, заброшенный в пустыню поповоле отшельник?

Скайе был очень одинокий и считал себя плодом потаенных встреч неких высших существ, одно из которых выносило его в своей утробе.

Он был неуютным в страсти, но и прежде, на родине, самки — едва отпив от золотого сосуда его похоти — возвращались в их выложенные дерном норы. Теперь же брачной порой садовник выбегал на пашню и яростно занимался сам с собой любовью, склонившись над землей, роняя семена в ее неокрепшее тело.

Разумеется, он слышал голоса, и все, что ни делалось им, — было с их слов.

Какие-то таинственные силы, по которым следствие часто обгоняет причину, — и в настороженном доме хлопает дверь, хотя ветер еще не налетел, сделали Скайе садовником. Выяснилось, что, кажется, он жил со всяким миром в ладах. Ничто в саду не изменилось, а только стало глаже и размереннее. Природа вокруг была покойна, как музыкант, по одному взмаху палочки угадавшей тональность незнакомой симфонии. Скайе — сам сухой и тонкий — вошел в чернильную зелень, как ключ входит в замок, и получился неотличимым. Было странно, но в соседней деревне, на иконе святого мученика Христофора выступила смолистая влага, о которую приятно спотыкались губы старух. Себякни ощутил неудобство и потребовал рационального объяснения.

Известный агрономик, заметный очень медленной речью, закладывал друг в друга маленькие, поросшие с изнанки белым пушком ладони и говорил, что сам факт оказания влияния высшей системой на низшие, а не наоборот, смертельно его интересует. Нужны, однако, лабораторные опыты, поскольку без них никто не вправе признать реальным явление, не предусмотренное теорией и поливариантное по своим возможным истокам. Лично профессор винил во всем ферменты. Себякни стал онкологически равнодушен, глядя на него.

Осень меж тем заходила уже слишком далеко. Во всех комнатах дома, где бы ни открывали окна, наметом лежали свернутые в сухие трубки желто-коричневые листья берез. Ветер пируэтами, исподтишка вырывал у кленов сучья, которые тяжело валились на дорожки, но, вместо ожидаемого мертвого падения, со скрипом отлетали вдруг от земли и долго еще пружинили на черных ветках-плавниках, как рыбы. Как всегда, листва начинала редеть по концам древесных куполов, все более просветляясь, свешивая голые шнуры

от густых пока что маковок, усыпанных еле держащимися, полопавшимися листьями.

Скайе любил бывать в сыром разноемье, где две блеклые сосны ограждали въезд на мост. Мост вытекал из лесной дороги к усадебным воротам и покрывал чистый канальчик между двумя языками озера, кустами поросшего накренившимся камышом. Садовника влекла сюда блаженная близость воды. Днем она была по-зеленому темна только в местах, где ее застили слизавшиеся деревья. В разрывах цвет воды расходился от небесно-пасмурного до белой ряби, там, где склонялись висячие кисти парковых берез. Если Скайе смотрел прямо вниз, то канал был прозрачен, и барашковые листья, медленно крутившиеся под уклон, с первого взгляда было трудно отличить от лежавших на дне.

Садовник спускался по одному из сходящихся углами берегов, но тут же ощущал промозглую сырость, не слышную за кустами, заграждавшими ледяную воду. Неуклюже, в перчатках и шерстяном наторснике он карабкался наверх, чтобы вновь насладиться тишиной. Иногда садовник не улавливал причудливой частоты чередования; через мост проносились автомобили со смеющимися гостями, почти задевая изогнутыми крыльями белый, морщинистый живот ящера, махавшего вслед. Но чаще это было в другое время, когда листва сочно трепетала в истоме, и Скайе целыми часами до вечера расслабленно отдавался воле воды, заплывая для забавы меж опор моста, и тогда пролетавший экипаж закрывал в щелях ленивее жаром солнце и сыпал на полусонную рептилию мелкий сор.

В один из октябрьских дней Скайе собирал грибы на опушке у канала. Под дубами, в слонстом, ломком листопаде он нашел крепкие *белые* на бороздчатых ногах и со шляпками цвета кваса, носившими иногда геометрическую осмысленность черт, к которой он теперь так стремился. Счастливый садовник неторопливо поел отысканное, держа боровники как молоток за ручку.

Его потянуло к дому. По линии из слитного песка Скайе миновал парк, заделанный под Версаль с его блестяще точной клумбой, но увидел не бесконечный, сверкающий как океанский пароход дворец, а милый дом из белых крашенных досок, с крыльцом в два марша и окошком в виде перекрещенного глаза, украшавшем мезонин. Подойдя ближе, садовник стал гулять между каменными чашами, где летом произрастали цензбежные розы. В этот момент наверху —

Скайе не мог видеть — закутанный в тяжелый халат Себякин с кем-то гневно ликировался:

— Все добрейшие критики, вся эта стая фарисействующих мерзавцев должна бы понять — нам претит сама идея о деструктивности, разрозненности, неупорядоченности. Логически объяснимая природа обязана быть управляемой, мир материален и должен подчиняться законам развития материи. Ни один из этих законов не может предусмотреть нецелесообразность, на которую так падки разумные ревнители свободы. Между бессознательно действующим на свое благо животным и человеком, доводящим себя до самоубийства лихорадочными метаниями, огромная разница в том, что человек куда менее целеустремлен и целеположен. В «п» человеках эта бесцельность, когда здоровые инстинкты уже вне сил, а интеллекта достаточно лишь на самоистребление, возрастает в «п» раз. Поэтому я говорил и буду говорить: управление — это единственное, что может сделать мир чуточку лучше. Иначе каждый будет тянуть на себя одеяло, пока оно не лопнет под оголтелое любомудрствование тянущих. Нам нужны квалифицированные менеджеры, а не гуманисты без царя в голове. Довольно развала. Посмотри окрест, к чему приводит неясность задач и безразличие в средствах, применяемых для их решения. Мы потеряли даже элементарную экономическую гигиену. Ящики, гниющей грудой накиданные на хоздворе, для меня то же, что тебе грязь под ногтями у хирурга...

Тут Себякин выглянул в парк и обнаружил внизу садовника, который волочил за собою, как хвост, мешок с палыми листьями.

— Даже наши говорящие орудия, и те не разговаривают. Они относятся к народу, который обычно неподвижен, либо идет в направлении никому неизвестном. Что ты ни делай, хоть выпрыгни из окна, но это не изменить. Вспомни философа — наилучшей формой правления явилась бы монархия при гениальном монархе, но такого редко можно отыскать. Неплоха и олигархия, но ее единая власть непрерывно распадается на отдельные противоборствующие друг другу группы вокруг лидеров-олигархов. Кроме того, всякая аристократия также может и будет ошибаться. Посему, хотя вопиющие недостатки демократии очевидны, пока не придумано ничего с постоянностью лучше, придется обращаться к ней. Но — как мой конечный вывод — демократия должна быть искусно руководима в сторону наименьшего зла,

иначе она выродится в хаос либо в укрытую лицемерием несправедливость...

— Наверное, ты прав, — произносил женский голос из глубины комнаты, — но мне жаль нашу милую, нелепую свободу, когда каждый — тот, кем он хочет быть, стоит лишь притвориться, что ты послушен лицам, которым положено притворяться, что они тебе верят. Всякое управление, а, может быть, и такое мудрое, как твое, неуместно в общем притворстве, где и слепец и ребенок разыгрывают молчаливо признанную пьесой жизнь. Все — незаинтересованные актеры, которые ничего не требуют друг от друга, кроме подачи реплик вовремя. Где еще проводилась такая изысканная комедия дель арте с настоящей смертью на занавесе? Конечно, очень легко свести все к формуле: наш народ живет прекрасно — мы живем еще лучше, чем наш народ — чего еще нужно? Но, честно говоря, я не хочу, чтобы мной управляли всерьез, иначе мое дорогое время начнет уходить на сопротивление власти. Пусть наша жизнь будет теньвым кабинетом, зато в душе мы будем выстраивать ту же красоту, что и Кубла-Хан. Существующий мир, что ни говори, все же уравновешен социальной эвтаназией. Жаль лишь мечтателей и убогих, которые не вмещаются в общий высокий поток актерства. Как, ты думаешь, что я не жалею ближних? Еще бы, но другой жалостью, и она не похожа на твою. Это — жалость Кармен. Я хочу жить, окруженная падшими ангелами. Смотря на людей, я болею за их внутреннюю робость, неумение играть легко и применяясь к каждодневному миру, какие бы объяснения этому не находились...

— Может быть, ты скажешь, что это неверно, и будешь прав, но мы должны жить и давать жить другим, — продолжала собеседница Себякина. — Единственная социальная роскошь, которую мы можем и обязаны себе позволить, это милосердие. Все прочее только изнашивает, а я не хочу, чтобы мы с тобою постарели раньше времени...

Слова, почти погашенные стеклом, вырывались в сад и падали в вязкий воздух над головою Скайе, как капли.

Зима вступала в свои права, и кровь в жилах садовника все холодела. Он чаще оставался в хижине, умиротворенно глядя тонкую резьбу чаши, вышедшей некогда от Фаберже, любясь рассчитанной ясностью ее узора. Чаш было довольно. К садовнику всегда сносили замутнившиеся поделки из янтаря и покрывшееся патиной — будто кто-тодохнул —

серебро, потому что считалось, что Скайе придает им новую жизнь, всемогущий, как тотем этих вещей.

Себякин разлюбил зиму, уверяя, что за последние годы погода у нас окончательно смешалась климатом, а в царстве переменных оттепелей ему делать нечего. Поэтому с первым снегом он переезжал в город и отдавался там рабочей лихорадке. Тогда садовника вселяли в оставленный дом.

Скайе, несомненно, чувствовал себя как всякое холодно-кровное, попавшее в террариум посреди льда и мороза, т. е. ощущение зыбкости, отделявшей его от космоса прозрачной пленкой, вечно довлело над ним. Садовник бродил, бывало, по пронзительно-светлым, искрящимся от внешней стужи комнатам, в которых, как пюпитры, стояли дымные солнечные лучи, но явно искал места в темных чуланах, где сырость от теплых труб создавала видимость не-зимы. Оттого, что большей частью Скайе сидел без свежего воздуха, у него гноились глаза, но в целом он был здоров счастливой свежестью животного, не замечающего собственного тела. Таким животным достаточно тесного выгула и пищи, чтобы сохранять тугие бугристые мускулы и быть всегда готовыми к естественной жизни.

Садовника поселили в котельной. Кроме него, в доме появлялся только Некрысов, писавший какой-то заказ в себякинской мансарде. Время от времени, для разгона нервов, маленький писатель устраивал взрывообразные вечеринки, о составе которых лучше всего говорит тот факт, что одна из приглашенных попыталась соблазнить Скайе.

Случившееся при этом в подвале цивилизованному описанию не поддается. Ровно через минуту, с шепотом: «Иднот, какой иднот!..» — понимая, что поднимать голоса уж никак нельзя, и переставнув оставшийся целым крючок не в его петлю, женщина в приглушенной истерике выскочила из котельной, прокляв собственную падкость на галлюциногены. Скайе тяжело не понял произошедшего с незнакомой хозяйкой, сам же сохранил легкий неприязненный осадок, верно, как и бык, топтавший Пасифаю. Ошибка от непонятности привела садовника к раздумьям, и он решил, в конце концов, что женщина была больна, как бывают больны голуби в парке, у которых выпадают перья и которые терпеливо стоят, дожидаясь кошки.

Ночами Скайе лежал на топчане и смотрел за огоньками режима, обходившими свой контур в разумной последовательности. Если, скажем, котел долго молчал, то преоблада-

ло белое, и тогда со взрѣвом заходила турбина. Рычащий котел раскачивал комнату, и истопник чувствовал мелкую сладострастную дрожь. Когда скапливалось алое, и пахло жженым маслом, то Скайе знал, что сейчас котел умрет, задушенно оборвав звук. Если бы этого не случилось, ящер был научен управлять машиной вручную и доводить ее до ума.

Близость машины успокаивала Скайе. Он знал, что хозяева наверху каждый занимался своим таннственным делом, все шло заведенным чередом, и он не был чересчур потревожен. Время и вещи, эта укрощенная природа, так изумлявшая бывшего кочевника, были в его власти, пока он мог ощущать их созданную прелесть, зряшную для вечно стремящихся к беспорядочным сочетаниям людей. Скайе любил деревья, но более восхищался опосредованной плотью эбеновых статуэток, как переходным звеном к величию изображаемых ими человеческих существ. Так было и с фотоаппаратом, черный намордник которого неуклюже выставился из себякинских книг. Скайе знал, что стоило нажать на лаковую кнопку, как человек съезживался, и в выползавшем куске картона превращался в свое изящное подобие.

Мир истопника становился покоен.

Иногда из серой, вылепленной ноздреватым снегом ложбины шоссе вылетала Лиза на рычащем моторе и ссылала ящера в подвальную конуру. Потом все восстанавливалось. В стеклянной гондоле мансарды, пересеченной желтыми тенями берез, оголенных снаружи в сыром холоде, Некрысов читал укрытому плодом Скайе свои истории, которые ничем не кончались и говорили только о зимних боли и печали. Но это была уже не чернуха, а работы, написанные красной солью сердца. Они не висели, как пальто, на оси, опущенной от воображаемого гвоздя, а растекались по протяженности беспомощной грудой, созданной по принципу гегелевских триад или — как замечал один древний стилист — русских сказок, в которых начало нового этапа действия сопряжено с пересказом и уяснением всего, что произошло раньше.

Скайе кивал, утишенный теплом, слушал размеренный шум подобранных слов, а затем спускался в бельэтаж: к окнам на задний двор, где стывшая река не замерзла и беззвучно катила под слюдяными языками льда свои сангвинические воды. Здесь были две комнаты, от недосуга стоявшие пустыми. Себякин однажды обещал, что когда-нибудь отдаст их Скайе. Истопник не понял смысла обещания. Он

знал только, что теряет старую жизнь и вступает в иную, лишенную простоты, принимая ее с настороженной надеждой, как дети — врачебный приговор.

Ночами в котельной, где голые кусты терлись об окно под потолком и скрипели, как декорации, в багряном полусне Скайе слушал голоса. Они раскрывали сокровенную суть явлений и снимали заботу. Все было, как положено быть. Высокий путь приводил истопника в огромные залы, завешанные золотым светом лампионов, где вдоль проходов бесконечно стояли тонкие, вычурные предметы — аппараты и вазы. Они на равных беседовали со Скайе и улыбались, обещая место среди них.

Истопнику казалось, а голоса говорили об этом прямо, что настоящее теперь не могло быть поколеблено ничем. И, слушая, пробираясь в отдаленные уголки, везде встречая разумные, идеальные воплощения земного разлада, Скайе гордился тем, что до самого лета ему поручено оберегать от беды великое, преисполненное непонятных, но все более знакомых вещей здание, которому он тесной близостью стал сопричастен.

Ирина СЫСОЕВА

* * *

Привет, дружок! Накинув теплый плед,
как ученик доверишься безумью.
Все выигранные тобою суммы
на деле состояли из нулей.

Как посторонний, престарелый дождь
проходит мимо, глаз не поднимая.
Но ты не огорчаешься нимало —
сам никому давно не подаешь

ни взгляда, ни руки, — едва ли жив
от духа разложившегося лавра.
У завсегдатаев дворовых лавок
на языках в конвульсиях дрожит

твоя, по счету сотая, судьба.
Прозекторы в веснушчатых халатах,
расставив по ранжиру виноватых
в семи грехах, забыли — ах! — себя.

Для сплетен и отрубленных голов —
без счета их — давно не стало тары.
Так оседлаю старого кентавра —
не облако, не тучи, — и, в галоп

пустив его по небу, убегу,
как в прерии, в безбрежные тетрадки.
Там будем жить, пощипывая травку,
лишь у воображения в долгу.

* * *

А цвет волос пойдет на тишину...
Теплом ладоней разбавляя краски,
мы скинем опостылевшие маски
и подойдем к замерзшему окну.

Во льду продышим пятнышко в размер
монетки, что в кармане заваялась...
В холодном доме некого, являясь
из темноты углов, пугать. В обмен

на жар сознания легкие тела
мы получили... Будто бы рукою
поправив прядь, как будто бы... легко и...
Короче, жизнь, как пыльная легла

на полку книга. С носа сняв очки,
библиотекарь задремал над чаем,
а мы с тобой тихонько продолжаем
свой праздник одиночества... почти.

А поезд мимо тихо — словно вор.
А ветер в редкой роще вымел чисто.
На ветвь цепляю уцелевший листик, —
у этой елки встретим Рождество.

А тишина хрустит как снег, как шаг
хрустит тяжелый чей-то, расплзаясь
по швам... Ветшает всё. И только зависть
и злоба не умеют изветшать.

А тишина хрустит как снег, не то
как кость... Ты жив? Тогда бежим отсюда!
Вот через эту дверь во льду, покуда
не отняли последнего *ничто*.

1993

Олег ЛЕБЕДЬ

НИ ДНЯ БЕЗ СТРОЧКИ

Nulla dies sine linea

Когда клеть с шумом подъехала и остановилась, главный маркшейдер шахты № 9 Львовско-Волынского угольного бассейна, коллектив которой, несмотря на особо трудные условия разработки горных пород, занял первое место в объединении, кивком пригласил меня пройти внутрь. Переступая через темный узкий провал, я подумал: «Нужно обладать недюжинным спокойствием, чтобы каждый день иметь мужество без лишних эмоций шагнуть в эту маленькую кабинку, которая опустит тебя в преисподнюю». Мой провожатый молча закрыл дверь, и мы поехали. Я включил фонарь, закрепленный на моей каске, без которой ни один человек не спустится в шахту, и направил его на стену вертикального тоннеля, по которому неслась наша клеть. Мне стало не по себе: с чудовищной скоростью мы приближались к сердцу Земли. Суровое лицо моего спутника выражало добродушную снисходительность. Очевидно, он почувствовал мое волнение и бросил на меня спокойный взгляд, от которого мне стало гораздо уютней; я как будто почувствовал опору; таким же взглядом смотрели на меня пограничники на одной из застав, отправляясь на охрану священных рубежей нашей Родины, — в те минуты я был как за каменной стеной...

Неожиданно клеть остановилась, и мы вышли. Подземный мир в первый момент не показался мне каким-то необычным. Из настенных светильников ровно лился голубоватый свет, что-то успокаивающе гудело внутри этого организма. Поначалу я удивился:

— А где же люди?

И тут же понял нелепость своего вопроса.

— На рабочих местах. Сейчас смена, а время, как известно, не ждет... — сказано это было спокойно, без насмешки.

И вот мы идем по шатким деревянным трапам, которые лежат прямо в воде.

— Этот коридор называется штрек, — объясняет мне Юрий Рыбалкин (так зовут моего спутника).

— А я думал, здесь на четвереньках ползать нужно...

Мой провожатый усмехнулся в усы:

— Погоди, придется еще и на четвереньках.

Под ногами хлюпала вода, и совсем не верилось, что над нами сотни метров земли.

Мое внимание привлекли маленькие коробочки-копилки, укрепленные на стенах через каждые 150—200 метров. Над коробочками висели небольшие портреты. Я подошел поближе и присмотрелся. «Ба! Это же выдающиеся лингвисты ленинградской и московской школ! — воскликнул я. — Вот Виноградов, вот Розенталь, а вот и Будуэн де Куртене...» Под каждым портретом была подписана фамилия и даты жизни. «Что они здесь делают?» — изумился я. Юрий Рыбалкин не успел ответить, так как наше внимание привлек шахтер, несущий на спине тяжелый металлический столбик. Он тяжело дышал от натуги и что-то бормотал себе под нос. Дойдя до одной из копилек, он остановился, порылся в кармане, достал несколько монет и опустил их в копилку.

— Что же все это значит?! — в изумлении воскликнул я.

Глаза моего спутника излучали тепло. Он помолчал еще немного, пряча улыбку в бороду, и наконец объяснил:

— Это ребята из «Общества любителей русского языка» постарались... — с лаской в голосе сказал Юрий. — Дело в том, что коллектив нашей шахты не только выполняет и перевыполняет план по добыче угля, но и всеми силами борется за чистоту русского языка. Мы приняли такое решение однажды на общем собрании трудового коллектива, потому что все понимаем, насколько это необходимо!

Глаза его заблестели, взгляд устремился вдаль. Видно было, что вопрос этот действительно его волнует и задевает за живое.

— Вот уже пять лет у нас на шахте действует вышеупомянутое Общество! — с восторгом воскликнул он. — За каждое нелитературное слово шахтер вносит в кассу взаимопомощи один рубль. Люди настолько понимают правильность и необходимость этого, что выполняют это правило даже будучи один на один с собой. Пример такой сознательности мы только что видели...

Юрий Рыбалкин окончил свою пламенную речь, и мы двинулись дальше. Я был поражен.

— Мы приближаемся к тому месту, где ведется проходка штрека... — комментировал мой спутник.

Вдруг луч света вырвал из тьмы нескольких человек, полужелезистых на полу. Оказалось, это бригада проходчиков устроила пятиминутный перекур. Слово «перекур» здесь употреблено в переносном смысле — курить в шахте строго-настрого запрещается, иначе может произойти взрыв, и шахтеры свято выполняют эту заповедь — знают, что нарушение правил техники безопасности ведет к невозможным утратам.

Бригадир объяснил нам, что очень сильно *валит*, чуть было их совсем не *завалило*. «Что *валит*? Кого чуть не *завалило*?» — я не сразу вник в смысл этих слов. Когда же я понял, о чем идет речь, земля стала уходить у меня из-под ног. Говорили-то шахтеры об этом спокойно, как о чем-то вполне привычном. Я всматривался в эти лица, покрытые сажей, и видел сверкающие зубы и горящие, с задором, даже с некоторым вызовом, глаза.

— Ну, пойдём, посмотрим, — сказал Юрий, и мы направились к огромной машине, которая называется *комбайном*.

Люди молча заняли свои места, и *он* заработал. Поднялся ужасный шум. Луч света упирался в тугую стену пыли. Суровые люди делали свое дело, изредка перекидываясь короткими фразами. Любуясь работой этого слаженного механизма, когда люди, казалось, срослись с машиной, стали единым организмом с ней, я совсем забыл о том, что может *завалить*. Мой спутник опытным глазом быстро оценил обстановку и дал рабочим полезные указания. Через несколько минут мы отправились обратно.

Наконец мы поднялись по какой-то лестнице и очутились в пыльном коридоре. Пыль была настолько густой, что поглощала все звуки; люди шевелились в абсолютной тишине. Пройдя вперед, мы увидели сидящих шахтеров. Когда они заметили нас, пыль, казалось, перестала поглощать звуки. Взрослые, умудренные опытом шахтеры стали шумно здороваться со своим молодым начальником. Радость отразилась на их мужественных лицах. Поначалу может показаться, что люди, постоянно ходящие рядом с опасностью, грубеют, становятся неспособными радоваться. Но на их открытых в тот момент лицах можно было прочитать, как любят они своего начальника, паренька после института,

который и сам у них многому учится и о котором скупо говорят шахтеры: «Зря не обидит!»

Вдруг один из шахтеров встал на четвереньки, нырнул прямо в стену и исчез. Не поверив своим глазам, я тут же нагнулся и увидал, что там, куда нырнул этот человек, оказывается огромное выработанное пространство, конца которому не видно. Высота же этого «зала» была сантиметров сорок, не больше. Я спросил у Юрия, зачем туда полез этот человек. Усмехнулись в усы шахтеры, и кто-то спокойно сказал:

— Давать стране угля...

— Но ведь может *завалить!* — изумился я.

— Может, — все так же усмехаясь, отвечали шахтеры.

Я отвел Юрия в сторону и спросил, можно ли мне там пролезть. Он посмотрел на меня испытующе: мол, выдержит ли? Потом коротко сказал: «Да!»

После этого был долгий путь по-пластунски меж стоек, подпирающих потолок. Я полз и думал о людях, для которых мужество стало неотъемлемым атрибутом профессии; людях, которые каждый день ползут по лаве и знают, что может *завалить*, и для них ответственность превыше всего.

Мы подползли к группе рабочих, которые кружком расположились на относительно свободном пространстве. Они лежали на животах; один из них читал вслух какую-то книгу, остальные старательно выводили что-то в своих тетрадях.

— Что они делают? — спросил я.

— Занимаются русским языком. Это десятиминутный перерыв, который отводится на диктант, через каждые два часа работы, и который шахтеры называют просто и ласково: «Десятиминутка русского языка».

— «Беспокоюсь. Телеграфируй немедленно подробно. Целую. Твоя Лили...» — звучали слова бригадира.

Шахтеры склонились над своими тетрадями. Убеленный сединами мужчина поправил фонарь на своей каске и старательно выводил: «Двадцать шестое ноября, тысяча девятьсот...» Увлечшись, он совсем не замечал, как кончик его языка повторяет все движения карандаша.

— Да это же «Переписка Владимира Владимировича Маяковского и Лилии Юрьевны Брик», изданная в Москве, в издательстве «Книга», в 1991 году! — с восторгом воскликнул я. Хотелось броситься им на шею, смеяться и целовать людей, которые, несмотря на особо трудные условия разра-

ботки горных пород, находят время и силы для самообразования.

Я отполз пораженный. Потом мы долго выбирались по каким-то коридорам и приставным лестницам и, наконец, оказались у клетки. Там уже стояло человек шесть шахтеров, ожидающих клеть, чтобы подняться на поверхность. Мы подошли к этой кучке, они очень тепло приветствовали моего спутника, а меня удостоили молчаливым рукопожатием, после которого я подумал, что рука моя больше не шевельнется. Но это они не со зла! Ведь людям, привыкшим держать рычаги послушных им машин и механизмов, укрощая стихию, трудно рассчитывать силу для рукопожатия...

Когда приветствия закончились, самый большой из них продолжил прерванный нашим приходом рассказ. В скупых, но точных выражениях он рассказывал о том, как в прошлый выходной они с друзьями ездили на реку отдыхать, где после хорошей выпивки и закуски этот человек совокупил свое большое трудовое тело с еще бóльшим телом буфетчицы. Что интересно, размеры ее были столь велики, что поначалу ему было трудно реализовать себя: мешал ее живот. Но здесь на выручку пришла шахтерская смекалка: он подобрал своей мозолистой, но умеющей быть и нежной рукой растекшиеся тела женщины и привычным жестом забросил ей на голову. Я думаю, что в момент сдвигания больших тел слились воедино и большие мысли...

Рассказ этот продолжался уже в клетке, а я стоял и думал о том, что эти скупые на улыбки люди славно работают и так же славно отдыхают!

Ревас РЕЗО .

ПО СТОПАМ НИЧЬЕЙ ТЕТРАДИ

(эссеобразная импровизация)

Римская цивилизация покончила самоубийством, и в ее смерти не было ничего прекрасного. Однако она не умерла, поскольку цивилизации не умирают, и, пережив варваров, она просуществовала на протяжении всего Средневековья и даже дольше.

(Ж. Ле Гофф.)

Миланский архиепископ Шарль Борромео, один из виднейших деятелей Контрреформации, канонизированный вскоре после своей смерти, настаивал на том, что диоцез должен быть подобен «хорошо организованной армии, со своими генералами, полковниками и капитанами».

(А. Я. Гуревич.)

Вместо предисловия

Пожалуй, можно было бы и не юркать в тесноту и духоту целлофановой метафоры, а затеять на каком-нибудь щипково-смычковом, но, увы, расстроенном инструменте всхлипывающую проповедь. Но любой текст — это первым делом импровизация; возможно, в большей или меньшей степени, но всегда — первым делом. Импровизация же — суть не что иное, как разновидность коммуникативной ситуации, при которой мы имеем дело не столько с самим языком в относительно фабульно-сюжетном повествовании, сколько с тем или иным употреблением как языка, так и самого повествования. Импровизатором транслируется вовсе не содержание, не некая художественная идея или смысл самого повествования, а лишь мера упорядоченности, сложности текста — некая последовательность намеков, оговорок, предписаний, «ключей» к декодированию информации. Читатель же пытается по мере возможности приблизиться, пробиться к смыслу, содержанию послания импровизатора, уже исходя из, так сказать, «собственного репертуара». Таким

образом и осуществляется акт коммуникации. Полностью декодировать текст импровизации — значит найти в себе, в своем духовном и эстетическом опыте все возможные соответствия воспринимаемой художественной информации. Непонимание текста — следствие или незнания его кода, или отсутствия в апперцепции читателя необходимых для восприятия денотатов. Однако все это, конечно же, при априорном условии языковой компетенции импровизатора, понятие которой в лингвистический обиход ввел Н. Хомский. В данном же случае языковая компетенция полагается самым наглым и априорным образом. А посему и впрямь стоит юркнуть в тесноту и духоту целлофановой метафоры и, пожалуй, начать.

Вступая...

В начале была Любовь. Любовь как Слово? Любовь как Чувство? Но тут зародилась мысль: быть может, все дело в том, что слово «любовь» не соответствует нашему восприятию чувства любви, не выражает и даже не отражает в зеркальном, обратном изображении его. Здесь, скорее, подошло бы какое-нибудь слово, сходное по звучанию со словом «комиссариат», ну или оно само. А впрямь, чем плохо слово «комиссариат» для обозначения воспринимаемого нами чувства любви? «Весьма подходящее слово, звучное, зычное такое, просто прелесть!» — подумали мы, и никто не заметил подмены.

Комиссариат. Ольга (Елена)

Вставная новелла № 1

(окончание)

Той весной, точнее, еще не весной, а лишь издыхавшей слюнями олигофренического римлянина зимой, когда я еще жил на окраине Заволжского района Ярославля, в деревянном домике с плохо протапливаемой печкой и вел тихую и перспективную бытность (хотя, как можно бытность вести, а главное, — куда?) студента юрфака в местном университете, был у меня с одной москвичкой, звавшейся Ольгой, комиссариат. Однако собственно Ольгой я ее практически никогда не называл — так уж получилось, что с самого начала нашего комиссариата я прозвал ее Леной, коей она благополучно и пробыла всю дорогу, хотя дорога эта (по разным причинам, о которых вряд ли стоит распространять-

ся) больше смахивала (помахивая Любви) на полный страстей и страстивий путь. Комиссариат наш длился уже год с небольшим, порой казавшийся мне тысячелетием с хвостиком лет эдак в пятьдесят (если быть совсем точным, то хвостик был в 54 года), и по всем моим подсчетам в ближайшее время должен был завершиться, разродившись своеобразным Возрождением. Так все и приключилось, хотя лишь полгода спустя (соответственно, считай, и столетия): в один из моих приездов мы поссорились. Конечно, повод для ссоры был выбран мной неудачно, тем более, что истинная причина необходимости окончания нашего комиссариата была совсем другой: меня, мягко говоря, смущало то, что за все время наших отношений я, сколько себя помню, бывший страшным графоманом, не написал ничего, что так или иначе не касалось бы комиссариата. Хотелось же мне чего-то другого, упорно и настойчиво хотелось, но чего именно — побей меня Бог, я не знал. Что же до повода нашей ссоры, то мне даже стыдно о нем говорить.

1

В тот самый вечер, когда мы сказали друг другу пошлое «прощай», по пути на Ярославский вокзал (прошу не путать с Курским и, тем более, с Кремлем), в пустой и чем-то дебильной электричке метро я нашел Тетрадь. Девяносто шесть исписанных страниц этой коричневой в клетку Тетради были для меня и знаменем, и спасением, и толчком к., и всем остальным, вместе взятым. В начале, буквально на нескольких этих клетчатых страницах, кратко и беспристрастно, в третьем лице рассказывалась история какого-то комиссариата, чем-то напоминающая мне мою, только что завершившуюся, да еще одну, из Пушкина; далее же: предельно ясно и понятно сформулированные, а в некоторых случаях и достаточно разжеванные замыслы, идеи, разработки. Литература, кино, критика, культурология — все было в этой Тетради, все то, чем я интересовался или — лучше сказать поскромнее — хотел интересоваться. Кому эта Тетрадь принадлежала, какой несчастный потерял и забыл ее в электричке? — все это и по сей день (при чем здесь Посейдон?) овеяно и окутано для меня тайной. Единственно, что я, пожалуй, при желании смог бы определить, так это пол автора Тетради. Но снести Ее на кафедру криминалистики нашего университета и нагло подвергнуть судебно-медицинской экспертизе я не решился.

Сейчас же мне иногда кажется, что, собственно, это моя Тетрадь, что это я некогда, сам того не помня, заполнил Ее всеми этими замыслами и разработками, — заполнил, положил в карман и забыл. Когда же пришло время — а время, как это ни грустно, пришло лишь тогда, когда иссяк (сяку-сяку) комиссариат (или, все-таки, Любовь? — но нет, Любовь, хотя бы по своей природе, не может иссякнуть), и уже не он определял жизнь, а жизнь сама определяла жизнь, то есть самое себя, — я сел на жесткое сидение в мерзлом вагоне (хотя, право, было тепло) и обнаружил эту коричневую Тетрадь. Но все это, конечно же, надуманная метафора или даже аллегория, ибо в действительности Тетрадь, увы, не моя, я лишь нашел Ее. А за такие находки нужно платить, и платить не чем-нибудь, что первым попадется под руку, а самой рукой; рукой и всем остальным, к ней прилагающимся, всем собою во времени и пространстве. И никакого пафоса, никакой патетики.

2

Среди критико-культурологических заметок в Тетради была одна мысль, показавшаяся мне интересной. Точнее, то была не столько мысль, сколько лишь идея: рассмотреть то или иное произведение искусства «из-вне», то есть не с точки зрения концепции, лежащей в основе этого произведения, а с какой-нибудь иной точки зрения. Выбирая эту *иную точку зрения*, — советовалось в Тетради, — следует ориентироваться на то, чтобы в результате весьма своеобразного культурологического анализа или экскурса получилось достаточно самостоятельное и самоценное произведение, имеющее весьма отдаленное отношение к изначальному объекту своего рассмотрения. Однако в Тетради учитывался и признавался возможным и не столь категоричный подход: то или иное произведение предлагалось рассмотреть с точки зрения обратной той, что заложена в его основе. Прозошедшее в данном случае с объектом рассмотрения определялось в Тетради как *эффект выворачивания*.

3. Побег?

Примерно в то же время, как философ по образованию Робер Брессон снял свой знаменитый фильм «Приговоренный к смерти бежал», другой, не менее знаменитый, чем

фильм Брессона, французский философ Жан Поль Сартр высказал свою, опять-таки знаменитую мысль о том, что высшее состояние свободы Франция и французы испытывали во время фашистской оккупации, когда вся страна была словно в тюрьме и, казалось бы, ни о какой свободе и речи не могло идти. Однако свобода французов в данном случае меня мало волнует, трепетать же меня заставляет другое: то, что произойдет с фильмом Брессона, если взять да и рассмотреть его с точки зрения приведенных выше слов Сартра. Оставим, пожалуй, в покое сами эти слова, в которых, впрочем, на мой взгляд, если оттолкнуться от конкретной ситуации Франции в годы Второй Мировой Войны, под внешней абсурдностью, уютно и скромно ютится глубинная истина, открытая, кстати, вовсе не Сартром, а еще Святыми Отцами первых веков христианства... Так вот, касаясь собственно фильма Брессона: при подобном рассмотрении он как бы *вывернется*, а концепция его превратится в обратную по отношению к исходной. И, действительно, окажется буквально следующее: свободой для героя станет тюрьма, а тюрьмой — зримая свобода, ибо то, что мы называем свободой, есть лишь отсутствие необходимости выбирать.

А впрямь, зачем мы убежали-то хоть, а? Ведь все равно, уже почти в конце пути, наконец осознав побег, но еще не в силах признать поражение, мы определили свободу, назвав ее формулой счастья, как одно Да, одно Нет, одна прямая линия, одна цель. Экая дерзость!

4

Однако, что скрывать, предпочтению автор Тетради отдает не *выворачиванию* произведения при его рассмотрении, а становлению самостоятельного текста, мало чем зависящего от объекта своего *лишь легкого, сугубо символического касания*. В качестве демонстрации подобного становления мне хотелось бы *лишь слегка, сугубо символически коснуться* «Необыкновенной выставки» Эльдара Шенгелая, причем сделав это с точки зрения наследия Платона. Скрывать, почему из всех остальных, имеющихся в Тетради, я выбрал именно этот вариант *касания*, я, конечно же, не собираюсь и срочно приступаю к построению самостоятельного текста... хотя, собственно, я уж несколько страниц, как приступил. Вы разве не заметили?

5. Имитация возвращения

Сдается мне, будто осень и ностальгия — состояние родственные, и уж если взять да, вспомнив древних, заняться лиричной натурфилософией, то ведь окажется, что осень — это ностальгия, даже тоска природы по забытой весне и ушедшему лету. Природа грустит, вспоминает, вздыхает, и мне хочется того же с ней заодно. Как я понимаю Пушкина, любившего писать в эту ностальгическую пору, когда прожитое оживает яркими мазками чувств в памяти и, преломляясь, легким и тонким штрихом ложится на бумагу. Кажется, не нужно прилагать никаких усилий ни чтобы жить, ни чтобы писать, ни чтобы любить. Все есть и ничего не надо! Вот и меня наступившее несколько дней назад бабье лето плавно ввело в это блаженное состояние. А нынче утром пересмотрел я в очередной раз (счет утерян) необыкновенную выставку и, тяжело вздохнув, вовсе превратился в некоего положительно размякшего и разомлевшего в невозмутимом спокойствии субъекта, чем-то напоминающего (кому?) деревенского, с дикорастущей бородой мужика, мирно спящего опосля баньки. Он спит, почти не ворочается, лишь порой в душе матерясь от счастья и свободы, причмокивает губами... И напомнила мне необыкновенная выставка мой родной город, Кутаиси, где провел я первые свои 17 лет, девятую кутаисскую среднюю школу, в которой от первого до последнего звонка проучился я 11 из тех своих 17-ти, развалины храма Бограта, где с детства я мечтал найти клад... Кстати, в качестве летней практики, после девятого класса я действительно участвовал в археологических раскопках, проходивших в районе храма*, но никакого клада, естественно, не обнаружил. Мои находки ограничились обломками кувшинов двухтысячелетней давности, в которых, наверное, некогда хранилось вино, обратившееся затем в кровь, а к нашим временам, увы, и вовсе испарившееся.

Месяца за три до моего отъезда из Грузии, когда я еще не то, чтобы не знал, но даже и не думал о том, что, быть может, уже никогда не вернусь, в апреле, заболела моя бабушка: в результате инсульта она потеряла память. Мне грустно было уезжать, видя то, как она, сидя в кресле и смотря в какую-то, ведомую лишь ей самой точку, путает

* Помню: во время тайных перекуров мы все спорили, кто станет президентом США: Дукакис или Буш; я поставил на Буша и выиграл жвачку «Дональдо».

имена людей и названия предметов. Но что я мог сделать? — моим не-отъездом сй было не помочь. С тех пор все мои контакты с домом ограничивались теми вещами и книжками, которые присылала мне мама. Они пахли нашими платяными шкафами и книжными полками, и, получая их, я подолгу, подобно заядлому токсикоману, внюхивался в этот запах, в этот дух дома, внюхивался до тех пор, пока он не выветривался. Но вещи из последней посылки (репродукции картин Дрезденской галереи, шерстяные, вручную связанные шапка, шарф, носки), высланной после смерти бабушки, уже не пахли...

Я не видел ни Грузию, ни мой родной город такими, какие они сейчас. В моей памяти Кутаиси остался тем самым, почти не изменившимся со времен «Необыкновенной выставки» (необыкновенной выставки): Белый Мост (Тетри Хиди), горный и каменистый Риони, тут же рядом, на левом берегу — спартанские легкоатлетические залы, на месте которых перед самым моим отъездом в Россию отстроили римские бани. Хотя, насколько мне известно, в Грузии нет такой банной традиции, как на Руси, правда, и с легкоатлетической традицией, честно говоря, там изрядный напруг, но...

...но все это, по-моему, мало кому может быть интересно, тем более тому, кто так до сих пор и не понял, о чем я, собственно, здесь пишу. Кому какое дело до моей ностальгии, ведь я наврал: за окном далеко не осень, а деловито-серьезная зима, пусть уже издыхающая слюнями олигофреничного римлянина, но все-таки зима. Да и вообще, какая там, к черту, ностальгия, ведь всего пять лет назад я сам, словно приговоренный к смерти, бежал, отлично зная, что уже никогда не вернусь, никогда...

Однако, как бы там ни было, а первая причина (т. е. осень и моя ностальгия по архаичной, почти античной Грузии и по утерянному дому), из-за которой я, собственно, и выбрал из всего остального, имеющегося в Тетради, именно «Необыкновенную выставку», вроде бы объяснена. А посему, стоит, пожалуй, перейти и ко второй.

6. Воскрешение классика

(начало)

Из достоверных источников, пожелавших остаться анонимами, мне стало известно, что личность Эльдара Шенгелая, соавтора незабвенной и необыкновенной выставки и

автора «Необыкновенной выставки», весьма примечательна в связи с одним метакультурным моментом. Дело в том, что Эльдар Николаевич является, пожалуй, единственным свидетелем воскрешения Льва Толстого. Исчерпывающими данными по поводу самого воскрешения я, к сожалению, не располагаю, однако в том, что факт такой имел место и приключился не где-нибудь, а именно в Грузии, могу заверить с полной уверенностью. Но почему в Грузии, и почему Лев Николаевич (Л. Н.) вообще воскрес? Как такое может быть, чтоб анафемствованные граждане воскресали? Ответы на эти и на многие другие вопросы я бы и сам получил с прерогромнейшим удовольствием, но, увы, их нет. Быть может, Эл. Н. и знает что-нибудь (например, на определенного рода достаточно странные догадки наводит одинаковое произношение инициалов Л. Н. и Эл. Н.), но мне он поведал лишь следующее. (Ко всему рассказанному я, естественно, добавлю и все то, что со времен моей юности известно мне самому.)

Как и следовало полагать, воскрешение Л. Н. имело не только в определенном смысле достаточно аргументированные мотивировки, связанные с его творческой деятельностью на высотах метакультуры*, но и конкретную цель: лицезреть инкарнацию метапрообраза Наташи Ростовской: тоже Наташу, хотя и с совсем другой фамилией и родословной.

Комиссариат. Наташа Вставная новелла № 2

(начало)

А была Нато** красавицей и не только среди грузинок, редко блестящих изяществом и гармоничностью, но и, так сказать, вообще... Родившись в семье потомственных медиков, входивших в круг рафинированной кутапской интеллигенции, она получила прекрасное домашнее образование и к десяти годам уже прочла изрядную часть сочинений Мопассана и Золя. Учась в параллельном со мной классе, она, кроме того, была еще и моей соседкой: я жил на улице Кирова***, 1-й тупик, дом № 2, она же читала своих французских по адресу: ул. Кирова, дом № 13. Казалось бы, мы

* Даниил Андреев. «Роза Мира», книга X, глава 3.

** Грузинский эквивалент имени Наташа.

*** Ныне — улица Царицы Тамары.

неминуемо должны были познакомиться и подружиться, тем более, что моя мама и бабушка, также будучи из числа местных интеллигентов, были с наташиными родителями накоротке. Вдобавок ко всему, с класса эдак четвертого мама постоянно и настоятельно советовала мне подружиться с такой «воспитанной и начитанной Наташей». И мы действительно познакомились, хотя и лишь пять лет спустя, учась уже в девятом классе. Сущий пустяк: в ожидании начала комсомольского собрания мы разболтались о только что пройденном по программе русской литературы «Войне и мире» Толстого, а вечером, придя домой, я с удивлением для себя отметил, что, видимо, вкомиссариатился. Как-то потом, много позже, Наташа рассказывала мне, что и она в тот вечер испытала нечто подобное. В общем, комиссариат наш так и начался. Увы, всего не рассказать, слишком узки рамки, но... то и впрямь был комиссариат, и, наверное, для людей, хотя бы лишь чуть знакомых с морально-этическими устоями в Грузии, не явится откровением, что был он совершенно платоническим*. И так полтора года! Господи! Терпеть более и далее мы уже не могли и поэтому, вместе отпраздновав в одиннадцатый класс первосентябрьским утром**, мы решили, что буквально на следующий же день после выпускного вечера поженимся. Принятое решение как-то ободрило нас, и лично меня уже не пугал своей громоздкостью и неуклюжестью остававшийся до того заветного дня почти целый год.

Уж простите пошловатый перифраз, граничащий с каламбуром, но молодые предполагают, а родители располагают. В общем, по весне, в самом ее начале, Наташу выдали замуж за какого-то, пардон, хрена. Я узнал об этом лишь неделю спустя, да и то вовсе не от самой Наташи, а от одной нашей общей знакомой. Почему Наташа сама не сказала мне об этом, почему не попросила сделать что-нибудь, ведь по ее же, сказанным как-то позже, словам, она не хотела выходить замуж за этого обеспеченного домом, машиной, деньгами и прыщами студента-медика? Почему? «Я подумала, что тебе так будет лучше», — грустно улынувшись, смиренно отвечала она. А вот я думаю, что, наверное, она уже не питала ко мне никакого комиссариата. Но все это, впрочем, мои проблемы...

* Непредусмотренно-раннее вторжение Платона в текст.

** Помню: в пятнадцать минут девятого мы встретились за углом моего тупика, онасливо оглядевшись, робко поцеловались и пошли.

Ну а следующей весной у Наташи родился мальчик, и жизнь ее, до сих пор текшая как-то сама по себе и вызывавшая этой *течкой* лишь игривое удивление, наконец обрела цель, цельность и даже, быть может, целомудрие. Но, Господи! как же моя Наташа подурнела: она стала полной и неряшливой, а студент-медик — муж Леван* словно зарыл ее своими прыщами.

7. Воскрешение классика

(окончание)

Бедный-несчастный, гордыней обреченный на желанное страдание Л. Н.! Стоило ему лишь раз увидеть вышедшую на балкон с годовалым дитем на руках Наташу, как он, разочаровавшись то ли в инкарнации, то ли и вовсе в метапрообразе, а, быть может, не вынеся всей пошлости этой сцены, схватился за сердце, ноги его задрожали, согнулись в коленях, и он упал. Эл. Н. подбежал было, чтоб помочь воскресшему классику, но, увы, было уже слишком поздно. Только что воскресшее и еще не успевшее привыкнуть к жизни сердце Л. Н. не выдержало, и он скончался тут же, напротив наташиного дома, у кинотеатра «Сакартвело», рядом с ожившими после зимней спячки фонтанами; скончался, не приходя в сознание. Похоронили же Л. Н. в Тбилиси, в Пантеоне Писателей.

Но все-таки, что послужило причиной его смерти? Какое чувство он испытал перед своим вторым и, увы, столь скорым отходом в мир иной? Чувство ужаса? Негодования? Разочарования? Быть может, стыда? Или, наоборот, восхищения? Успокоения? Смирения, наконец? Не будем гадать. В своей прощальной речи, произнесенной на скромных и скорых похоронах Л. Н., Эл. Н. сказал, что, по-видимому, Л. Н. разочаровался в самой возможности какой бы то ни было положительной инкарнации, а посему решил как можно скорее вернуться на высоты метакультуры, в окружение метапрообразов.

Однако, как бы там ни было, а вторая причина (т. е. причастность Эл. Н. к житию воскресшего Л. Н. в Грузии), из-за которой я, собственно, и выбрал из всего остального, имеющегося в Тетради, именно «Необыкновенную выставку», вроде бы объяснена. А посему, стоит, пожалуй, перейти и к третьей.

* Грузинский эквивалент имени Лев.

8. Разочарованные циники

(отрывок первый: изыски)

Ладно, все это вроде бы понятно, Бог с ним, но причем здесь Платон? Ну, во-первых, при том, что Платон мне всегда казался грузином; во-вторых, изобретатель первого будильника — личность и сама по себе примечательная, даже не будь он философом, а, в-третьих, — см. ниже.

Общеизвестно, что любимой и чуть ли не единственной пищей Платона были смоквы, представляющие собой сушеные плоды инжира. В Кутаиси у меня во дворе росло инжировое дерево, но оно давало не ахти какой урожай, и поэтому инжир мы никогда не сушили, а покупали смоквы на базаре. Но я, честно говоря, не особо любил их, мне больше нравились желтовато-зеленые, чуть приоткрывшие красную обезьянью задницу плоды. Как бы там ни было, а я, собственно, клоню к тому, что инжир (в любом: и в сушеном и в сочном виде) обладает одним побочным действием: резко увеличивает частоту и объем выделения кала. Таким образом, можно предположить следующее: как и я, в своей кутаисской бытности в сезон сбора инжира, Платон определенную и весьма значительную часть своего драгоценного времени проводил в туалете. Однако столь громадную, концептуально слаженную и не имевшую в истории европейской мысли прецедента философскую систему, какой является платоновский идеализм, невозможно породить, работая лишь определенное количество часов в сутки. Необходима постоянная и неустанная работа разума и души, чтоб стать отцом столь не по летам умудренного дитяти. Исходя из этого, можно предположить, что какая-то определенная часть философской системы Платона придумывалась и разрабатывалась им именно в туалете. Однако ведь в Академии практически все ее члены питались исключительно смоквами, во всяком случае, в то время, пока схолярхом был сам Платон, и Спевсипп, его племянник, не сменил его на этом почетном посту, — так вот, следовательно, получается, что необходимость частого посещения туалета испытывал не один только Платон, но и прочие, обосновавшиеся на покровительствуемой Академией земле, сократики и платоники. Ввиду же имеющихся данных о пристрастии Платона к жесткой дисциплине и всяческой регламентации, возможно предположить, что у бродивших под оливами философов существовала некая система, некий график посещения туалетов.

Однако насчет туалетов во множественном числе стоило бы, пожалуй, быть поосторожнее, ибо общественные туалеты стали устраиваться при гимназиях лишь с эллинистических времен, а поэтому, если в Академии при Платоне и существовало некое сооружение, предназначавшееся для определенных целей, то представляло оно собой одну, максимум две коряво сбитых кабинки. Посему же, во избежание выстраивания очередей у этих сооружений, и был необходим график их посещения.

Комиссариат. Наташа Вставная новелла № 2

(окончание)

Кстати, а вот насчет меня Наташа, наверное, была права. И впрямь, поглядывая на историю этого комиссариата с еще недостроенной колокольни нынешнего, сдается мне, будто все приключилось самым наилучшим образом. Ведь не выйди той весной Наташа замуж за своего ублюдочного студента-медика, не было бы в моей жизни ни деревянного домика на окраине Заволжского района Ярославля, ни комиссариата с Леной (Ольгой), а что самое главное — не было бы и Тетради. Она досталась бы кому-нибудь другому, хотя, быть может, и никому... А значит, не было бы и меня, ибо сейчас я не представляю себя никем другим, кроме как служителем Тетради, да и сам я существую лишь постольку, поскольку служу Ей. И никакого пафоса, никакой патетики!

Разочарованные циники

(отрывок второй: культурология)

Когда я поделился всеми своими соображениями по поводу роли туалетов в Академии времен Платона с киноведем и моей хорошей знакомой Вероникой Хлебниковой (кстати, а почему бы мне не вкомиссарнатиться в нее? — но нет, имя не то, ведь она не Ольга, не Наташа, не Татьяна), она посоветовала мне вплотную заняться этим вопросом и, быть может, даже написать «Историю туалетов». И впрямь, подумал было я, почему бы мне не написать «Историю туалетов», если хотя бы тот же Мишель Фуко написал «Историю безумия». Конечно, безумие — вещь важная, но и туалет — штука нужная. Но уже практически с

первой попытки приблизиться к поставленной проблеме выяснилось, что труд под названием «История туалетов» невозможен, ибо о туалетах источники почти всех эпох упорно молчат. Почти за месяц работы мне удалось выяснить лишь то, что римские туалеты отличались комфортабельностью, оборудовались мраморными сидениями и подключались к водоснабжению, а за пользование ими взималась определенная плата; во времена же Диоклетиана в Риме существовало 144 туалета... И все.

Касаясь Средневековья, нечто вразумительное можно сказать лишь о туалетах при монастырях. Что же до туалетов в миру, то об этом источники и вовсе молчат. И дело тут, скорее всего, не в стыдливости авторов, а просто в том, что отправление естественных потребностей в Средние века не скрывалось за стеной стеснительности, не замалчивалось, как это стало делаться в Новое время, когда этот аспект человеческого существования полностью скрылся в туалетах от глаз общественности. Так, например, на картине Брейгеля «Крестьянская свадьба» видны несколько участников сельского праздника, отошедшие к стене помочиться. Ни для них, ни для пляшущих тут же рядом пар в этом нет ничего неестественного и неприличного.

В общем, с туалетами я зашел в глухой тупик, и писать об этом что-либо более и далее мне абсолютно нечего.

10

Как известно, поэзию, да и вообще искусство Платон не особо жаловал*. «Мастер изготавливает ту или иную вещь, всматриваясь в ее идею», художник же занимается лишь отражением отражений идей, — считал Платон и признавал искусство лишь как «техне». Диаметральной противоположностью искусству являлась, конечно же, философия, субъекты которой, т. е. философы, занимались исключительно созерцанием «эйдосов». В принципе, в антагонизме между «эйдосом» и «техне» и заключен весь конфликт «Необыкновенной выставки». Олицетворением «эйдоса» в фильме является параллелепипед прекрасного белого мрамора, привезенный из Греции (!), «техне» же представлено собственно необыкновенной выставкой надгробий, устроенной на местном кладбище героем-скульптором.

* Платон. «Государство», книга X.

Если же попытаться определить этот конфликт иными словами, то он, опять-таки, сведется лишь к одному, а именно 46-му отрывку из «Анофеоза беспочвенности» Льва Шестова*: «В «Портрете» Гоголя художник приходит в отчаяние при мысли о том, что пожертвовал искусством ради жизни. У Ибсена, в его драме «Когда мы, мертвые, просыпаемся», тоже художник, прославившийся на весь мир, раскаивается в том, что пожертвовал жизнь — искусству. Теперь — выбирай, какого сорта раскаяние тебе более по вкусу».

**Комиссариат. Татьяна
Вставная новелла № 1**

(начало)

Думал ли я, проснувшись сегодня к полудню, увидев долгожданное и теплое солнце за окном и решив отправиться погулять по Арбату, думал ли я, что встречу Танюшу? Нет, честно, не думал...

Мы столкнулись в метро, как тогда, три года назад: она села напротив меня, и взгляды наши встретились. Она ничуть не изменилась за эти три года: такая же легкая, живая, веселая, но в то же время задумчивая, а порой даже и грустящая. Оказалось, что два месяца назад она вышла замуж, и тогда я сразу вспомнил, как мы познакомились в золотую осень, как бродили по Коломенскому, как там же сидели в каком-то странном музее, долго смотря на карту звездного неба, а Танюша все рассказывала мне о своей двоюродной сестре Ольге, о том, какая она у нее красивая, сумасшедшая и гениальная. Я уже чувствовал, что почти вкомиссариатился в Танюшу, когда она все-таки познакомила меня со своей безумной сестрой. И я не устоял перед Ольгой, тем более, что осень уже давно прошла, да и зима издыхала слюнями олигофреничного римлянина; наступала весна, и мне хотелось безумства. Тихая Танюша меня уже не устраивала, и я вкомиссариатился во взбалмошную Ольгу.

Сейчас же, когда с Ольгой у меня все давно закончилось, а Наташу я уже и вовсе забыл, сейчас, когда я в метро снова неожиданно встретил Танюшу и узнал, что она вышла замуж, я подумал и даже понял, что если с кем у меня и был комиссариат, то только с ней.

* Еще один, третий Лев в нашей импровизации.

11. Итоги

Необыкновенная выставка надгробий

В тот жаркий летний день мама, уйдя, наверно, на базар, — точнее сейчас уже и не припомню, — наказала мне залезть на стоявшее в конце нашего двора и с детства почему-то казавшееся мне *древом мировым* черешневое дерево и собрать выдавшийся в том году довольно большой урожай. Но лезть куда бы то ни было в такую жару мне было лень, и поэтому я решил заняться единственным оправдывающим меня делом: подготовкой к вступительным экзаменам. Но и это было лишь видимостью, обманом, — в действительности я, хоть и с учебником по обществоведению в руках, сидел на первом этаже, рядом с бабушкой, и смотрел как раз шедшую по местному телевидению «Необыкновенную выставку». Поначалу мне казалось, что для бабушки телевизор сливается со всем окружавшим ее миром, и она не акцентирует свое внимание на мелькании экрана. Но со временем я стал замечать, как взгляд ее становился все более и более осознанным. Когда же фильм закончился, она неожиданно серьезно повернулась ко мне и спросила: что я сделал бы из того мрамора, который герой-скульптор подарил своему ученику? Я пожал плечами и в шутку ответил, что, мол, сделал бы надгробие своего учителя. Но бабушка, видно, не была настроена на шутки: «Нет, — резко оборвала она меня, — это сделают и без тебя, сделают те, кто не раскрыл подмены, подмены Любви комиссариатом, подмены Смерти надгробием; ты же должен выбить из этого мрамора лестницу в двенадцать ступеней, на которой с четвертой по шестую ступень будет восседать Сама Смерть, а с девятой по двенадцатую — Само Воскресение». Закончив, бабушка как-то обмякла, а взгляд ее снова потускнел. Я же от всего, только что ею сказанного, буквально выпал в осадок. Ничего не поняв, я отбросил учебник по обществоведению в сторону и, захватив корзину, отправился в конец нашего двора к черешневому дереву собирать урожай...

12. Отступая...

А вот отступать-то, пожалуй, нам и некуда — как-никак Третий Рим позади...

Александр ШАРЫПОВ

О ДВИЖЕНИИ МЕТОДОМ ПРОБОК И ОШИБОК

Процессы разброда и шатаний никогда не исключали интереса к движению как таковому. В. Ленин писал:

«Брели розно и шли назад только руководители: само движение продолжало расти и делать громадные шаги вперед». («Что делать?»)

Сегодня, когда разброд лежит на грани развала и разложения, в противовес ему со всей актуальностью выдвигается поиск таких методов движения, которые дополняли бы движение в целом движением внутренних частей, т. е. легли бы на грань подвижничества. В связи с этим я намерен рассмотреть вопрос о движении *методом пробок и ошибок*, требующем, на мой взгляд, наиболее пристального к себе внимания.

Идеи, излагаемые мною, отчасти являются оригинальными, хотя так или иначе они уже содержались в различных публикациях, однако большей частью, по-видимому, оставшихся незамеченными.

Рассмотрение я намерен вести языком простой прозы, без привлечения громоздких и утомительных формул. Материал рассчитан в основном на студентов 1—4 курсов.

Порядок изложения

Сведения, содержащиеся в 1 части, носят большей частью ознакомительный характер. Студентки 3 и 4 курсов могут пропустить этот раздел.

В части 2 рассматривается история вопроса. Я не мог обойтись там без некоторых специальных терминов и упоминаний редко встречающихся имен, что несколько затрудняет восприятие материала. Студентки 1 и 2 курсов могут пропустить этот раздел при первом ознакомлении.

Далее последовательно разбираются существенные стороны рассматриваемого движения:

- в части 3 — специфика собственно движения;
- в части 4 — специфика пробок;
- в части 5 — специфика ошибок.

В заключении я затрагиваю некоторые прикладные вопросы, в частности, о направлении и целях движения по отношению к отдельным понятиям, существенным и необходимым для разных категорий людей (типа счастья, сочувствия, благодати и т. п.).

Благодарности

Я считаю своим долгом выразить признательность тем многим людям, без которых невозможен был бы сам факт моего выступления.

Мои родители и мой старший брат первыми познакомили меня с тем языком, на котором все это будет изложено.

Я не мог бы оформить свои мысли, не кончив курса у В. Л. Краковского, студию которого я старательно посещал вплоть до ее печально известного удушения.

Мой постоянный редактор А. Гаврилов немало способствовал тому, чтобы снять с моих рассуждений неизбежный налет провинциализма. В содержательных беседах во время совместных доставок телеграмм и при чаепитиях на кухне в перерывах между ходками он щедро делился со мной сведениями о состоянии движения у нас в центре и за рубежом.

Мой ближневосточный респондент и друг Лео существенно помог мне своими советами. Многие слабые места рассуждений были буквально выжжены огнем его язвительных гримас.

Мисс Анжела Сидорова, представитель агентства «Два двенадцать» в Северной Америке, тщательно проверила все разделы. С ее помощью были существенно прояснены некоторые идеи, иногда и мне самому представлявшиеся весьма туманными.

Внимание, оказываемое мне со стороны А. Михайлова, не давало упасть духом и вселяло надежду на то, что *непроходняк* не останется втуне. Руководимый им журнал «СОЛО» — это, несомненно, будущая элита российского и всего мирового печатного дела.

Мое министерство, мой департамент и мое бюро позаботились о том, чтобы хлеб не переводился на моем столе,

пока я работал над рукописью. Особенно я хотел бы поблагодарить в этой связи кассира А. З. Солдатову.

В числе тех, кто оказывал мне поддержку в те или иные моменты, я хотел бы поблагодарить А. Добрынина, О. Дубровскую, В. Забашкина, А. Филинова, Д. Кантова, А. Битова, В. Пучкова, Ю. Рычкова, А. Белых и Б. Черных.

Извинения

Нехватка времени и слабое знание языков явились причиной того, что в изучении методов движения я руководствовался в основном трудами российских авторов. Надеюсь, зарубежные авторы извинят меня за полное незнание их новейших работ в данной области.

Последние замечания

«Всеобщее стремление сделать из всякого труда ремесло и орудие для заработка средств к жизни, вместо того, чтобы поставить себе целью строгое и правильное розыскание истины», — как писал М. Ломоносов (*«Рассуждение об обязанностях журналистов при изложении ими сочинений, предназначенное для поддержания свободы философии»*), приводит к тому, что всякое изложение видов движения, адресованное не студентам 1—4 курсов, неизбежно наталкивается на сопротивление аудитории. Если М. Ломоносова больше всего тревожила «наглость рецензентов, которые наперерыв терзали» его сочинения, то сегодня упомянутое сопротивление выражается в виде зловещего молчания и последующих вопросов, имеющих явную цель уязвить в корень — типа того, что был задан А. Гаврилову в Объединении «Союз-промонтаж»:

«И это всё?» — после чего А. Гаврилов принужден был даже запеть с трибуны песню на стихи Н. Добронравова, дабы удержать внимание аудитории.

Что значит — всё? Когда говорят таким образом, то что это? — позвольте спросить вслед за М. Ломоносовым, — «недостаток ума, внимательности или справедливости?»

Намеки на то, что в наших рассуждениях нет чего-то существенного и необходимого для самой последней бабы (как, например, соль), могут иметь своим корнем только одно: невежество, признающее единственно необходимой сущностью нечто зримое и доходящее, как писал М. Ломоносов,

«до отрицания существования воздуха в порах соли», поскольку воздух с трудом видим, а поры малы — отсюда один шаг до отрицания необходимости воздуха вообще, — естественно, что в таких условиях совершенно бессмысленно адресовать рассуждение об истинно незримых сущностях кому бы то ни было, кроме студенток 1—4 курсов, среди которых единственно я предполагаю найти действительно умных женщин.

Часть 1

Сам *метод пробок и ошибок* можно рассматривать как распространение *метода шендирования* на область неустойчивого бытия.

Часть 2

Идеи бытия и движения наиболее всесторонне впервые были опробованы Моисеем и Одиссеем в XIII в. до н. э.

Внутреннее движение от движения в целом отделил М. Ломоносов, не позднее 22 августа 1754 г. Он же первым отказался от плоского рассмотрения вопроса и перешел к колоколу.

Метод шендирования был открыт Стерном в 1760 г. Выкладки Стерна не привлекли к себе внимания и были признаны утомительными, вероятно, именно в силу ограниченности их предмета сферой устойчивого бытия. Кроме того, Стерн совершенно упустил из виду *проблему пробок*.

Проблема пробок впервые прозвучала у Пушкина.

П. Сезанн в 1880 г. вскрыл противоречие между реальной фактурой предмета и его потенцией и попытался разрешить это противоречие рассмотрением противоположных красв стола и невидимых человеческому глазу боков бутылок. Однако он ограничил рассмотрение сферой чисто фактурного движения, недостаточность какого в настоящее время математически доказывается работами А. Бартова.

Вен. Ерофеев в 1968 г. впервые применил *метод пробок* к движению в явном виде, однако недооценка ошибок ограничила его опыт движением по замкнутой кривой, хотя, вообще говоря, если все на свете происходит неправильно, то выбор замкнутой траектории также неправилен и движение по ней ошибочно, — что в принципе не противоречит нашему методу. С другой стороны, возможность медленного движения при всем этом весьма спорна.

На *неустойчивость бытия* первым указал А. Битов, в работе которого (1991 г.) заметна, впрочем, опасная тенденция свести неустойчивость бытия к нестабильности быта.

Наконец, А. Лукшин в 1991 г. окончательно связал римановы поверхности с существенными и необходимыми потребностями самых последних баб и вывел формулу, в соответствии с которой:

«Формы бутылки, чашки, чайника (и юбки — добавим от себя; А. Ш.) — вечны. Они никогда не устареют, как состояние любви или жажды, или, например, истины, что солнце светит».

(«Не насытится око зрением...». «Творчество», № 4, 1991.)

Тем новым, что удалось привести в теорию мне, по мере моих скромных возможностей, явилась, может быть, связь *проблемы пробок* с так называемой *проблемой языка*; кроме того, как ни странно это, однако, по-видимому, напрашивающееся само собой добавление такой существенной и необходимой (и принципиально разомкнутой!) римановой поверхности, как юбка, в перечень ранее освоенных поверхностей — также до меня никем еще не была сделана.

Часть 3

Движение по методу пробок и ошибок всегда есть совокупность внутреннего движения и движения в целом. При этом для полного осуществления движения в целом необходимым условием является предшествующая ему теснота «внутренних частей» (в ломоносовском понимании; «душ» — в египетском; «души» — у христиан), а спусковым механизмом служит стремление ухватить нечто неуловимое. Исходя из сущности неуловимого, движение в стремлении ухватить его всегда есть промах; а последовательность промахов в стремлении ухватить нечто неуловимое есть не что иное, как движение опроретью.

Два примера дают представление о характере движения по методу пробок и ошибок (*курсив мой* — А. Ш.):

1. «Я все стоял на одном месте и не мог привести в порядок мысли, смущенные столь ужасными впечатлениями.

Неизвестность о судьбе Марьи Ивановны пуще всего меня мучила. Где она? Что с нею? Успела ли она спрятаться? (...)

Я увидел ее постелю, перерытую разбойниками... (...)

— Барышня жива, — отвечала Палаша. — Она спрятана у Акулины Памфиловны.

— У попады! — вскричал я с ужасом. — Боже мой! Да там Пугачев!

Я бросился вон из комнаты, мигом очутился на улице и *опрометью побежал в дом священника, ничего не видя и не чувствуя*.

(«Капитанская дочка»)

2. «— Поверьте, — говорил князь Долгоруков, обращаясь к Багратиону, — что это больше ничего как хитрость: он отступил и в ариергарде велел зажечь огни и шуметь, чтоб обмануть нас.

— Едва ли, — сказал Багратион. (...)

— Прикажите, я съезжу с гусарами, — сказал Ростов.

Багратион остановился и, не отвечая, в тумане старался разглядеть лицо Ростова.

— А что ж, съездите, — сказал он, помолчав немного.

— Слушаю-с.

Ростов дал шпоры лошади. (...) Ростову и жутко и весело было ехать одному с тремя гусарами в эту таинственную и опасную туманную даль, где никто не был прежде него. Багратион закричал ему с горы, чтобы он не ездил дальше ручья, но Ростов сделал вид, как будто бы не слышал его слов, и, *не останавливаясь, ехал дальше и дальше, беспрестанно обманываясь, принимая кусты за деревья и рытвины за людей и беспрестанно объясняя свои обманы*.

(«Война и мир»)

Часть 4

«Слово освобождает душу от тесноты», — утверждал Шкловский. Это положение спорно. Во-первых, оно подразумевает отрицательную роль тесноты, что уместно лишь на уровне обыденного сознания: «Зачем ты в бутылку полез?» — спрашивает обыватель, и для него этот вопрос звучит риторически, тогда как еще Бердяев писал:

«Если европейский человек выходит ныне из новой истории истощенным и с растраченными силами, то он вышел из истории средневековой с силами накопленными, *девственно непочатыми* и дисциплинированными в школе аскетичности. Образ монаха и образ рыцаря предшествовали эпохе Ренессанса и без этих образов человеческая личность никогда не могла бы подняться на должную высоту.

(«Смысл истории»)

Во-вторых, слово, т. е. язык, — утверждаю я — не освобождает, а лишь помогает освободить душу от тесноты, да и то лишь в случае, когда душа освобождается принудительно.

Так называемая *проблема языка* — это чисто русская проблема, возникшая, к тому же, лишь в последнее время. Кажется, возникновение ее связано с деятельностью Е. К. Лигачева. Вен. Ерофееву и в голову не могло прийти, что при размыкании римановых поверхностей могут возникать какие-то проблемы с языком (*курсив Ерофеева*):

«Я взял четвертинку и вышел в тамбур. (...) Мой дух томился в заключении четыре с половиной часа, теперь я выпущу его погулять. Есть стакан и есть бутерброд, *чтобы не стошнило*. И есть душа, пока еще чуть приоткрытая для впечатлений бытия. *Раздели со мной трапезу, Господи!*

СЕРП И МОЛОТ — КАРАЧАРОВО.

И немедленно выпил».

(«Москва — Петушки»)

Однако уже у А. Гаврилова проблема языка обозначена явно (*курсив мой* — А. Ш.):

«Суровцев достал из чемодана бутылку водки и протянул Войцеховскому.

Войцеховский, *порезав палец*, содрал пробку и сделал несколько глотков. (...)

«Сам выпил, а мне ничего не говорит», — оскорбился Суровцев и стал скручивать из газеты пробку и затыкать бутылку.

Пробка то проваливалась, то не лезла.

— Лучше выпей, — отозвался из тулупа Войцеховский.

Суровцев сделал пару глотков, заткнул бутылку, спрятал ее в чемодан и сказал:

— И все-таки я с тобой не согласен в том плане, что раньше ничего хорошего не было. Было, было! Вспомни хорошо! Вспомни хотя бы...

— Не физдипли, — отозвался из тулупа Войцеховский, и Суровцев замолчал».

(«Элсия»)

С появлением завынчивающихся головок *проблема языка* перестает быть актуальной; по крайней мере, уступает в актуальности проблеме использования при размыкании правила правой руки (в формулировке Лермонтова: «И некому

руку подать»; в формулировке А. Битова: «Если человек кажется говном, то он и есть говно.»).

Что же касается непринудительного освобождения, то в нем язык не играет никакой роли, поскольку под действием внутреннего движения пробка и язык вылетают, так сказать, совместно:

«Да, все это — пустяки. Главное теперь — государь тут. Как он на меня смотрел, и хотелось ему что-то сказать, да он не смел... Нет, это я не смел. Да это пустяки, а главное — не забывать, что я что-то нужное думал, да. На-таш-ку, нас-тупить, да, да, да. Это хорошо». И он опять упал головой на шею лошади. Вдруг ему показалось, что в него стреляют. «Что? Что? Что!.. Руби!.. Что?..» — заговорил, очнувшись, Ростов».

(«Война и мир»)

Часть 5

Недооценка ошибок при движении рассматриваемым методом совершенно недопустима, ибо ток, в котором состоит вся ценность движения, наводится по правилу правой руки в результате индукции именно в ходе промаха.

При движении по методу возможны ошибки двух основных видов:

- 1) ошибка головы;
- 2) ошибка пробки;

...причем ошибка первого рода является следствием преимущественно движения в целом, а второго рода — преимущественно движения «внутренних частей».

Характерный пример ошибки первого рода — показанная выше ошибка головы Ростова о шею лошади. (Следует напомнить, что Ростов тогда влюбился в царя, поскольку на походе больше не в кого.)

Пример ошибки второго рода:

«К Talon помчался: он уверен,
Что там уж ждет его Каверин.
Бошел: и пробка в потолок».

(«Евгений Онегин»)

Теоретически нельзя исключать еще один, дополнительный род — ошибка пробки о голову, возникающая в результате рикошета от потолка или свободного падения под действием силы тяжести. Однако, по причине главным образом

не-шарообразности пробки, такой вид ошибки на практике встречается крайне редко.

Заключение

Из рассмотренного ясно, что направленность движения по *методу пробок и ошибок* не имеет ничего общего со стремлением к счастью. Стремление к счастью в нашем понимании есть стремление получить долю, т. е. растащить на части то исконно единое, что дается нам свыше.

Благодать, посылаемая на праведных и неправедных, растекается при стремлениях к счастью по внешней стороне римановой поверхности, как капли дождя по стенкам бутылки, и для находящихся внутри иначе не может видаться, как если бы сквозь стекло.

Но, «верящий в бессмертие должен трезво относиться к плану земной жизни», — писал Бердяев.

Направленность нашего движения отлична и от стремления к сочувствию. Попутно заметим, что, вопреки мнению Тютчева, сочувствие дается нам не так, как благодать. (Сочувствие относится к благодати по правилу правой руки.)

Стремление к счастью и к сочувствию заложено, очевидно, у нас в инстинкте, однако тем и отличаются умные женщины, что у них есть ум. «Ум наш, — писал Лев Толстой, — есть способность отклоняться от инстинкта и соображать эти отклонения».

(«Дневники»)

Таким образом, дух нашего движения «действует прямо противоположно ветхозаветным началам».

(Бердяев)

Дух, собственно, и есть тот ток, который возникает в ходе движения; причастие этому Духу является его (движения) целью, а направлением — линия, поворачивающая по углу места от горизонта к точке разомкнутости всяких поверхностей.

«Нас же всех, от единого Хлеба и Чаши причащающихся, соедини друг ко другу во единого Духа причастие».

(Лит. св. Василия Великого)

— вот девиз нашего движения, —

«Теперь мы видим как бы сквозь *тусклое* стекло, гадательно, тогда же лицом к лицу; теперь я знаю отчасти, а тогда познаю, подобно как я познан».

(I. Кор.)

Павел КРУСАНОВ

СКРЫТЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ФРУКТОВОЙ СОЛОМКИ

Новое петербургское письмо отличается известного рода интеллектуальным чванством, характерным смысловым эллипсом — опускается все, очевидное для пишущего, — потому-то постороннему и мнится: семантика здесь вроде бы есть, но она точно в обмороке. Кажущаяся причудливость стилей в определенной степени объясняется тем, что пишущий утаивает пути к ним, он проживает различные стили в физической реальности, фиксируя в тексте не маршрут, но координаты перемещающейся точки. Другими словами, дело в лени, — автор словно бы гуляет по лестнице держа руки в карманах и что-либо царапает лишь на той ступеньке, где присел отдохнуть. «Был тут. Василий». Впрочем, лестница подразумевает только два разнонаправленных вектора, что уныло роднит ее с шахтой лифта — по полю стилей гуляют иначе. Период совершенен отсутствием курсивов, скобок и кавычек, т. е. смысловых пятен, оговорок, двоедушия словес. Что касается *допускабельного* наклонения, то оно дает понять: хозяин сказанных выше слов сознает условность определенных (всех) представлений и образов.

И все-таки это — история, которая будет рассказана, насколько бы ни казалась очевидной досадная нелепость воображаемого проживания сюжета и попытки его осмысленного изложения. Совершенством, правда, придется пожертвовать — герметичность этой штуки ужасающе бесплодна...

Поезд мчался сквозь преобладающий зеленый цвет. В кронах тополей ветшал день. Ветви трепетали на длинном ветру. В общем вагоне поезда «Петербург — Великие Луки» я ехал уже довольно давно и теперь совершенно неважно куда. Народу было не то чтобы много — помню кривоносого Николая, пьяного до отпечатков пальцев, и рыжую женщину на верхней полке, бдительно косящую глазом на остав-

ленные внизу туфли, — во всяком случае, я волен был размышлять обо всем, что только приходило в голову. Когда это было? Июль. Сенокос. Апокалипсис кузнечиков. (Если бог прямкрылых не охранит луга, напрасно бодрствует страж.) Я думал о том, что упразднение сословий и учреждение равенства — суть причины утока поэзии из окружающего пространства. Всю историю нового времени вообще следовало бы рассматривать как методичную работу по изъятию искусства из жизни путем умаления аристократии и провозглашения эгалитаризма — бедная Европа, большая Россия, мертвая химера Америка, но, mein Gott, что случилось с Поднебесной! Мне еще не пришло в голову, кому это выгодно, но уже выстроилась изящная череда ответных мер: а) расслоить общество на наследственные неравноправные касты по профессиональному признаку и имущественному цензу; б) учредить институт рабства, крепостной и вассальной зависимости; в) восстановить криптии, проскрипции, децимацию, государственные экзамены с написанием восьми-членного сочинения и jus primus noctae; г) запретить по всей Империи приветственные поцелуи. Ей-ей, сколько поэзии в свинцовом листе на груди кифареда Нерона, в леопардовой шкуре, накинутой на его плечи, когда он с ревом выпрыгивает из клетки и тут же утоляет похоть с юношами и женщинами! А чего стоит отточенный грифель Доминициана, которым он в первые недели власти протыкал отловленных в покоях мух. Или малопонятный синологам закон старого Китая, по которому всех родственников императрицы или наложницы, принявшей яд, вырезали, а смерть от голода не преследовалась. Вообще, есть что-то трогательно общее между Светонием и Михаилом Евграфовичем. «...Он сам отобрал юношей всаднического сословия и пять с лишним тысяч дюжих молодцов из простонародья, разделил на отряды и велел выучиться рукоплесканиям разного рода — и «жужжанью», и «желобкам», и «кирпичникам», а потом вторить ему во время пения». Облака закрывали землю, как веки закрывают утомленный глаз.

— Конечно, меня предупреждали о временной разлуке. вернее, сударь мой, о разъятии, всего лишь разъятии, дабы возможен стал между нами любезный разговор. Мне трудно изъясняться, но, пожалуй, правильно сказать об этом надобно так: я ощутила, как меня отщипывают от *целого* мягкими, словно бы детскими пальчиками, как старательно

лепят из меня человечка, формуя все, чему надлежит быть, и в таком виде оставляют одну, — ах, нет же, не одну, — с тобой, но от тебя отдельно, в тревожном образе вычтенного. Мне обещано, что это ненадолго, и, уповая на обещание, я скорее должна была бы сказать «в образе слагаемого», каковой воплощала в чудный день нашей единственной встречи, — но сказалось иначе. А разница, пожалуй, едва уловима и состоит единственно в том, что теперь я обладаю памятью *целого* за тот срок, покада составляла часть его. Итак, я *вновь* могу говорить с тобой, и сразу хочу признаться, что удивлена твоими словами — до нашей встречи я не имела памяти и, следовательно, ничего не понимала во времени, будучи матерью знания, которая саму себя постичь не способна и, по Гурджиеву, конечна (если делить между всеми поровну — каждому достанется не слишком-то много); потом у нас возникла общая память, но, сударь мой, то, о чем ты говоришь, мне до содрогания незнакомо. Признаться, я и теперь ничего не понимаю во времени (извини, речь о сем предмете отчего-то неизбежно пошла) — в герметичном состоянии внимания ему уделяешь по достоинству мало, — а потому изволь объяснить мне: откуда ты извлек произнесенный тобою порядок слов? Что это значит и почему это важно?

— Я увлекся предысторией. Все случившееся в тот вечер, возможно, несет в себе непонятый смысл, способный кое-что прояснить в наших делах, поэтому место ему в хранилище, до срока, но никак не в Лете, хранящей лишь собственное имя, что, признаться, странно, — достоверней была бы безмянность. Разгадка тайны твоего появления бесконечно занимает меня — попытка говорить о ней иначе равнялась бы рассуждению гусеницы о дерзком пижонстве мотылька, нацепившего на спину мелькающую пестрядь и без закуски хлещущего нектар. Согласен — мы не бабочки. Мы — всего лишь куколки, временно вернувшиеся в состояние гусеницы, — но, что лукавить, с пониманием будущего, из которого только что вышли. Я взял с собой в дорогу коробку фруктовой соломки и сочинение лже-Лонгина «О возвышенном», однако проводник упрямо не зажег ламп, и в отсутствие сна и света мне ничего не оставалось, как только хрустеть приятно подгоревшею чайною безделицей. Самого чая, который можно пить внакладку, вприкуску и вприглядку, не было ни под какую церемонию. Подражание природе в искусстве, думалось мне, кончается там, где на-

чинается повествование от первого лица. Но это не значит, что немых здесь караулит катарсис. Возможность взгляда от первого лица показывает лишь зрелость музы — все девять классических, за исключением, быть может, Урании (эта уже стара), так или иначе владеют им, зато самозванная десятая не доросла до первого лица: она существует в кино в виде голоса за кадром. Попутно из обломков хрупкой соломки я составлял на столе случайные арабески. По мере усложнения фигур, занятие это все больше увлекало меня, поворачиваясь неподражаемой, мистико-материалистической стороной, точнее, предчувствием вполне реальной чудесной метаморфозы: созревания, скажем, помидоров в отдельно взятом парнике от завязи до кровавого плода всего за одну ночь или стремительного заоблачного снижения Луны и пробуждения титанов, — предчувствием, одетым в туман, явившимся вроде бы беспричинно и уж наверняка помимо опыта, но оттого не менее убедительным. Варварская геометрия мертвенно оживала в свете редких станционных фонарей, отброшенном на подвижную сеть листвы, ползла на собственной изменчивой тени, но с воцарением мрака вспоминала место. В слове «геометрия» есть ледяное горлышко — намек на то самое, лазейка в иную космогонию. В июле, если это был июль, кожа пахнет солнцем, и кажется, что жить стоит долго. Май и август кое-что значат и высказывают суждения. Июль хорошо зажат между гайкой и контргайкой. Остальные месяцы вихляют, как велосипед с «восьмеркой», — по крайней мере, на шестидесятой параллели. Я добавлял и перекладывал соломку, откусывал лишнее — предчувствие неизменно и внятно режиссировало возведение преображающего знака. Вскоре правильность постройки стала подтверждаться болезненными уколами в области левого виска и общим угнетением затылка, — ложные движения совершались легко и этим выдавали свое малодушное бесплодие; попытка прибавить еще одно измерение показала его избыточность — фигура желала существовать в недеформированной плоскости, как развернутый свиток. Наложение внешних углов и линий на внутренние создавало мнимый объем сложнопрофильной каркасной воронки — область физиологии зрения или каприз воображения (справиться у Эшера). С каждой верно положенной соломкой вспышки слева и давление сзади усиливались, постепенно достигая понятия «невыносимо», и вскоре в обморочном бесчувствии воля покинула меня — моими руками

знак достраивал себя сам. Дальнейшее можно выразить такой последовательностью образов: мозг стал черный, как озеро дегтя, в нем, пронзив облака и крышу вагона, отразились заводы Млечного Пути, сполохи какой-то дальней грозы, вмятый до числа ресниц лик, после чего я вошел в воронку. Все рассуждения о происшедшем сводятся исключительно к описательным фигурам (причина отнюдь не в скудости терминологии), следовательно — они (рассуждения) размыты, несущественны. Однако олицетворенный, антропоморфный образ *знания*, вызванного к жизни зна́ком и мне явленного, отпечатался на эмали памяти столь отчетливо и прочно, что белый огонь пробуждения не сумел засветить его.

Когда я очнулся, за окном стояла высокая бирюза, замедляло бег зеленое, потом появилась свежая оцинкованная жечь, рикошет солнца и охра, врезающая в пространство прямые углы. Кажется, это была станция. Тому утру я обязан наблюдением: если у человека болит какой-нибудь орган, представляется, что он стал огромным. Я имею в виду ухо, которое я отлежал.

— Как это хорошо ты сказал про знак: вы как бы рыли тоннель с двух сторон, созидали обоюдно, — но, неужели, сударь мой, ты воображаешь, что скорбь животворящего, почти божественного труда мучительно переживалась лишь тобою? Сила знака в чем-то столь же уязвима и несовершенна, сколь уязвим ты, вступивший в соглашение с этой силой, — иначе ты был бы ей не нужен, а она не привлекла бы твоего внимания и осталась незамеченной. Но меня, собственно, занимает не это. Охотно верю, что все было сказано с умыслом и к месту, однако в твоей значительной речи есть много странного — не означает ли это, что ты видел, думал и чувствовал до нашего соединения иначе? В таком случае, мне отчего-то важно знать, что ты видел, вернее, что запомнил, — ведь предметы и явления, заслужившие твое внимание, предательски раскроют строй твоих мыслей и напряжение чувствования. Так или иначе — и это весьма существенно — прояснится твой взгляд на проблему: оставлять или не оставлять за собою следы?

— Помню Докукуева в сатиновых трусах, лопающего на кухне арбуз ложкой, — он только что проводил до дверей даму, которая никак не предохранялась, и это Докукуеву понравилось. А еще был Ваня, в два года не умеющий ходить, — он жил в ящике, к низу которого на толстые гвозди

были насажены отпиленные от бревна кругляши — такие кривснькие колеса; сестра катала ящик по деревне, Ваня выглядывал через борт и улыбался розовыми деснами. В жаркие дни дети звали сестру купаться; ухватясь за веревку, гурьбой неслись к реке, — коляска прыгала на ухабистом проселке, Ваня падал на дно и залиvisto визжал: «Не нада, не нада, не нада!» — а потом замолкал, и только голова, как деревянный чурбачок, постукивала о стенку ящика. Помню, в Крыму, в Голицинской винной библиотеке, струящийся из трехлитровой банки самогон пах сивухой и чабрецом, а на подводные камни выползали зеленовато-черные крабы. И как было щемяще сладко и почти не страшно лететь с выступа скалы в рассол, солнечная толща которого не скрывала дна, и эта коварная прозрачность, почти неотличимая от пустоты воздуха, не позволяла предощутить фейерверк вхождения в воду. Помню, как спорили турки, сколько далеко может убежать человек без головы, — играл пронзительный оркестрик, пленные по одному пробегали мимо палача, тот сносил им ятаганом головы, угодливый раб тут же накрывал пенек шеи медным блюдом, чтобы поддержать кровавое давление, и теплый труп бежал дальше. Потом замеряли расстояние, и проигравший бросал на ковер монеты. Я часто вспоминаю это, когда у меня болит горло. Интересно, видит ли голова, как бежит без нее тело? Знает ли, кто победил? Еще был мальчик в ночном литовском перелеске, среди оранжевых порубков ольхи, — отца его утром посадил на кол Свидригайло, но мальчик дрожал не поэтому, просто он никогда прежде не видел грозу, столь щедрую на громы и молнии, что грохот превращался в глухоту, а слепота ночи — в мертвенный полдень. Помню цветущие папирусы колонн, шарады фресок и сосредоточенное чувство полноты, исходящее от камней Луксора и Карнака. Помню шалость геликонского сатира, вложившего в рот спящему Пиндару кусочек медоточивых сот с прилипшей мохнатой пчелой. В пустыне, где от жары трещат в земле кости, помню странного человека, склоненного над могильным камнем — кладбище съели пески, в окрестностях уже не жили люди, и человек без слез оплакивал свою жену, похороненную здесь сто сорок лет назад. Что еще? Ах, да! Я верил, что Петербург — русская народная мечта и пуп глобуса, что интеллигенция и ученые — неизбежное зло и легкий источник для справок, что Царьград отойдет к России, что истина сродни горизонту, что континент Евразия в действи-

тельности состоит из трех частей света, что все написанное Прустом похоже на один длинный тост, что Deus conservat omnia, что уподобление воронов летающим гробам есть эстетический конфуз, что «на холмах Грузии лежит почная мгла», что вера моя ничего не стоит. Зато многого стоит неверие: признаться, я бессовестно потешался над возможностью воскрешения отцов. А еще я умею переплетать книги, строить бани, освещать сцену в театре и запекать паштеты. Не ищите меня в Царствии Небесном.

— Вот видишь: все верно — ничего подобного с нами не случилось. Сказать по правде, сударь мой, меня это не радует. Но говори, пожалуйста, говори, — ты полнее меня в той бесстрашной малости, которая всем цветам предпочитает оттенки зеленого, и с большой неохотой выслушивает апологию тьмы в ее тяжбе со светом. Суть в том, что зрачок сияющего — черная точка, а тьма — гений нелицеприятия, ибо всем дает (не дает) света поровну.

— Текст обретает себя постепенно, как сталактит. Первая капля, возможно, и не случайна, но все равно не похожа на желудь: в ней нет зародыша дуба и пищи для него. Что удивительного в изменении (замене) призмочки в голове? Части, сложившись, теряют себя и принимают облик целого — для части это почти всегда трогательно и грустно, порой — довольно неожиданно, реже — спасительно, никогда — стыдно. Славный мир завершает славную битву. Мощь разума уступала силе страстей — фруктовая соломка примирила их, не ослабив. Но получилось новое — Entente. При встрече нам пришлось выбирать между кристаллическим холодком гения, сердечной теплотой посредственности и раскаленной серьезностью пророчества — до сих пор не могу точно определить, что же мы выбрали. Кажется, отколупнув по чуть-чуть от предложенного, мы смастерили что-то вроде свистульки-манка: трель ее доступна критике, если предназначение звуков видеть в изучении, а не в приманивании птицы бьюль-бьюль. Впрочем, мы отвлеклись от поезда и станции. У меня нет и крупницы сомнения, что я ехал в другое место, однако вид блистающей жести и желтый брусок постройки повлияли на мое безупречное сознание так, что, ничуть не интересуясь топонимом, я вышел из вагона. Мимо стрельнул шершень — такая полосатая пуля. Чем-то тонким сверлил небо жаворонок. Меня совершенно не удивило то обстоятельство, что у фасада вокзального здания в окружении трех голубей и полосатой прилудной собачонки, по-

давшись вперед, чтобы не запачкать белое в синий горох платье, лизал дно стаканчика с мороженым овеществленный образ — тот самый, из воронки знака. Липы и тополя были расставлены без видимой системы. Вверху выбивали из перин легкий пух ангелы. Пуха было немного. Кстати (мой нелепый интерес к пустякам столь очевиден, что извиняться за него — почти жеманство), где в этой чудной дыре, состоящей (дыре следовало бы состоять из отсутствия чего бы то ни было) из вокзала, автобусной остановки, тополей, лип, жасмина, яблонь, гравийных дорожек, дюжины бревенчатых домиков с патриархальными четырехскатными крышами, люпинового поля и сосняка за ним; где ты раздобыла мороженое? Разумно предположить, что ты была создана вместе с ним, уже подтаявшим. Существует феномен текучей речи, свободной от обязанности толковать предметы, живущей единственно попыткой донести себя до воплощения естественной судьбы, — так новгородские болота влажно произносят Лугу, и та беспечно струится через леса и поля, срезая слоистые пески берегов, пока не достигает не слишком, в общем, живописного моря, где свершается судьба реки. Зачерпнув такой грамматики и ее отпробовав, можно подивиться вкусу, но все, что остается в памяти, выразиимо лишь как «мягко», или «жестко», или «ломит зубы», или «не распробовал»: пересказ невозможен, попытки повествовательного изложения безнадежно косноязычны, и все потому... Прости, тебе-то это как раз известно.

— Какое дивное имя — бюль-бюль! Прелесть что такое! Где-то рядом сладкой горкой лежит весь рахат-лукум книжного Востока, его серали, ифриты, минареты до Луны, Гарун-аль-Рашид, башня джиннов и золотая клетка, подвешенная на звезду. Словом, нарушивший сон халифа умирает долго. Быть может, неделю. Осмелюсь заметить, что ты, сударь мой, ошибешься, если вообразишь, будто я прилежно усваивала манеру твоей речи и теперь, решив закрепить урок и ради увеселения, самого тебя вожу за нос. Как это ни легкомысленно и как бы ни было к месту, но я, действительно, только сейчас самостоятельно подумала, что арабы изваяли великую цивилизацию, ярчайшую в семитском мире. И еще я подумала, что главной бедой тех людей, кто узнает жизнь из книг, служит искреннее и трогательное неведение, что ее можно и надобно узнавать как-то иначе.

— Знаешь, какой у тебя был вид, там, у фасада вокзала? Нет, по-другому... Из сочетания присутствующих мелочей:

жаворонка, собачки, голубей, капающего мороженого, как бы уже свершившегося знакомства, жасмина, лип, невещественного томного потягивания природы — из всего этого набора, как из контекста, вытекала требовательная необходимость что-то с тобой сделать. Может быть, возлечь. То есть, совершенно очевидна была потребность овладения тобой (соединения с тобой), так что возникшая версия выглядит вполне естественной: а как иначе — наvertеть из тебя котлет? С годами меняется впечатлительность чувств: как яркие и памятны любовницы и их кунштюки в 20 лет, а в 105 ты знаешь, что вчера спал вот с этой, но вспомнить, *как это было*, стоит труда. Любая попытка реанимации (воскрешения) обмана чувств есть вторжение в область мифологии и коллективной народной смекалки. Известно ли тебе, как сводят жеребца с ослицей? Жеребцу показывают кобылу, потом наслепо зашоривают глаза, и жеребец не ведает, что творит. Есть другой вариант: заказать Дедалу чучело кобылы. Нельзя сказать, что второй вариант остроумнее. Вот еще из той, примерно, области: в Крыму над ленкоранской акацией вьется стайка колибри, поймаешь одну панамой — а это юркий бражник! Тогда мне трудно было предположить, что требуется соединение совсем иного рода, — конечно, возможно было представить то утро и в образе теплого пюре с сонной котлетой посередине, но я не был голоден. Если свет слишком яркий, мир становится черно-белым, но здесь его было не мало и не много — как раз, чтобы различать цвета. К твоему мороженому привязалась оса, я взял тебя за руку, за ладонь, наощупь лишенную судьбы, и, как уместную цитату, вытянул из контекста. Мы переходили из света в дырявую тень и снова возвращались на свет, словно погружались ненадолго в толстую мерцающую слюду, — помню, в тени ты пахла дыней, а солнце капризно меняло твой запах на свой вкус, и следует признать, что вкус у солнца был. Во всем этом скрывалось что-то новое, свежесть ощущений — нарзанные пузырьки бытия взрывались на моем нёбе. Собственно, я не вижу причины, по которой должен отдавать предпочтение новому перед старым, кроме закона философии моды, гласящего, что приемлемо лишь сегодняшнее и позавчерашнее, — ни в коем случае не вчерашнее, — но быт одиночества, форма его существования, которая есть отсутствие тишины, нескончаемый монолог, вырывается из области, подвластной философии моды. Ни к кому не обращенный монолог не стремится быть популярным — ему нет

нужды делаться модным, чтобы в итоге стать действенным. В конце концов, истинное величие не бывает популярным. Чтобы считать все сказанное выше (ниже) правдой, достаточно хотя бы того основания, что я все это выдумал. Отнесись к моим словам серьезно — в той жизни было лишь несколько достойных вещей: гигиена, способность в одиночестве осмыслять реальность, своевременный разврат и еще кое-что, — все остальное не слишком важно, поскольку недостаточно прекрасно. То безбрежное место, где я прожил жизнь и где мы с тобой встретились, пропитано стойким неприятием афористичной речи, поэтому утверждение, будто слияние в *целое* есть смерть частей, способно вызвать лимонный перекося лица аборигена не столько своей очевидностью, сколько отсутствием словесного антуража — как краткий итог пространной, но опущенной софистической беседы, как лексическое «ню». Итак, я держал тебя за руку и прислушивался к дразнящим взрывам хрустальных пузырьков вдохновения, которые совершенно некстати дурманили мои помыслы настоятельными призывами реально оценить возможность построения земного ада. Твоя ладонь была совершенно гладкой. Если бы я был прозорливее, я бы понял, что это предвестие моей и твоей смерти в нашем *целом*, понял бы, что из зыбкого и хрупкого сделана наша жизнь, но я не понял и спросил: «Почему тебе не досталось судьбы?» Мы шли вдоль забора. Из-за некрашенного штакетника тянулись ветки черной смородины. То, что на них висело, было спелым — флора хотела осознать нашу реальность: сорвем, не сорвем? Ты уже расправилась с мороженым и ответила невпопад: «Милый мой, *целое* — среднего рода». Не берусь судить, что произошло следом (кажется, налетел ветер, взвыли колодцы и закипевшая в них вода выплеснулась наружу), но каким-то образом я получил тебя, как теленок — пожизненную жвачку; образ тем более уместен, что там, в поезде, перед выходом, я съел породивший тебя знак. Право, не знаю, стоит ли упоминать о том, что мы умерли и с холодным вниманием стали жить дальше.

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ **

Я не мало размышлял побеспокоить ли Вас вновь? И следует ли, уже порядком тому назад (20 ноября 1993 г.) законченное, — «Записки моего современника», — посылать Вам? И вот почему.

В письме ко мне 20 октября 93 года Вы сообщаете: «Что касается новых материалов, то, скорее всего, редакционная коллегия не будет иметь возможности печатать дважды одного и того же автора: концепция журнала предполагает поиск новых имен». И все-таки рискнул! А вдруг!.. («В нашей жизни всякое бывает — налетают тучи и гроза. Ветер утихает, тучи уплывают...»)

К тому ж, наступил год 50-летия Победы в Великой Отечественной войне. Вероятно, Ваш журнал тоже будет освещать это событие. Вот я и решил предложить материал, связанный с этой тематикой. С другой стороны, в моем материале затронута некая не совсем рядовая отдельная того времени специфичность. Отражена психология социально отторженных, оскорбленных; в пору же всеобщей беды не утративших своих высоких гражданских качеств. Я избегаю сцен из «Ура-Ура». Я ставлю цель показать только внутренний человеческий настрой в то сложное и грозное время.

Опубликовав мой «Портрет» в «СОЛО № 11», Ваша редакция ко мне, как к автору, проявила тончайшую участливость. Редакция оставила мой текст в полнейшей сохранности. Предоставила мне возможность высказаться так, как я хотел. Не нарушены ни мысли, ни краски, ни стиль, ни слова! И вот поэтому, — и благодарный и движимый проявленной благосклонностью к моему «Портрету», — и хотелось бы поместить свои строки еще раз именно в «СОЛО». Быть может даже как маловероятнейшую случайность, учитывая концепцию журнала.

* Редакция открывает новую рубрику. Этимологию ее см. «СОЛО» № 12.

** Печатается с сохранением орфографии, пунктуации и стиля подлинника.

Написанное — не выдумка. Отражена былая реальность. Связанные с ней переживания, ощущения. Без фантазии. Так, как обстояло.

Конечно, это не часть чьей-то биографии. Центральный персонаж не носит настоящего имени, как и все остальные. Однако, за названным персонажем стоит лицо конкретное, как и все лица его сопутствующие. Лицо конкретное — с его личностным. Былым.

Для некоторого уяснения, пожалуй, следует сообщить о себе дополнительное.

Я инженер-строитель. Так случилось (включая и военные годы) мне пришлось проехать от Баренцева до Охотского моря. Пришлось побывать на крупных стройках, где наряду с вольнонаемными, широко привлекался труд спецконтингента — на комбинате 16-м (г. Ангарск), на Южном Сахалине, на Куйбышевской ГЭСС, в других обычных гражданских местах, где в определенном присутствовал этот же состав. Вообще-то, затруднительно указать, где в те былые времена частично не присутствовал труд спецконтингента. Предо мной достаточно ясно представлена палитра из этих судеб. Поэтому, когда в одном из мест текста я выражаю мысль об изнанке матушки-России, думаю, что имею об этом представление.

Итак, по-джентельменски. Я жду Ваше письмо-ответ через 2,5 месяца. (Полмесяца — почтовое движение от меня и обратно. Остальное — вероятно, достаточно, чтобы не смотря на редакционную загруженность, чтобы ознакомиться с моим материалом.)

Если же мой материал непригоден, убедительно прошу Вас рукопись прислать обратно. Чтобы не нести затраты редакции — прошу выслать наложенным платежом.

Еще раз с уважением: *И. Абакумов*

ОБ АВТОРАХ

Олег ЗИНЬКОВСКИЙ. Родился в Москве, в 1963 году. Волей судьбы попал в Германию, где начал заниматься журналистикой на радиостанции «Немецкая волна». Публиковал стихи в газете «Русская мысль». Прозу печатает впервые.

Ирина СЫСОЕВА. Поэт. Живет в Ростове-на-Дону.

Олег ЛЕБЕДЬ. Очень молод. Живет в Киеве. Печатается впервые.

Реваз РЕЗО. Родился в 1972 году, в Кутаиси, учится во ВГИКе, на сценарном факультете.

Павел КРУСАНОВ. Живет в Санкт-Петербурге. Работает с современной прозой в издательстве «Северо-Запад».

Желающим получить журнал «СОЛО» №№ 1—14 и последующие выпуски обращаться письменно по адресу: 109652, Москва, ул. Подольская, д. 25, кв. 212, Ермаковой М. А.

Редакция не имеет возможностей давать письменные рецензии на предлагаемые тексты, вступать в переписку с авторами и возвращать почтой рукописи, не заказанные редакционной коллегией журнала.

К сожалению, ко всем рано или поздно приходит смерть... Как ее встретить? Как сделать последнее жилище красивым, надежным, комфортабельным? Как составить завещание? Грамотно совершить самоубийство? Соорудить гроб жене? Здесь вы найдете ответы на эти и многие другие вопросы. Их для вас разрешают в интересной и увлекательной форме Эксакустодиан Измайлов и Иосиф Пенкин — такие непохожие свободные плотники и человеческие характеры. Думается, их индивидуальные особенности помогут читателю глубже проникнуть в поставленную проблему и сконструировать свою точку зрения.

Е. Измайлов и И. Пенкин разными путями подошли к искусству гроба. Одному едва минуло двадцать, как он спешил отдать душу Господу, другому давным-давно за сто, и он все еще среди нас. Однако высочайшая осведомленность младшего заставляет его друга отыгрываться за счет внутренней поэзии текстов.

Для плотников, специалистов и лиц переходного возраста.